

Александр Галкин

# Царевич Димитрий



Александр Галкин  
**Царевич Димитрий**

Издательский дом «Сказочная дорога»

1936

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Галкин А. В.**

Царевич Димитрий / А. В. Галкин — Издательский дом  
«Сказочная дорога», 1936

ISBN 978-5-4329-0045-6

Роман «Царевич Димитрий» – I часть трилогии А.В. Галкина «Смута» – о самом тяжелом «смутном» времени в истории России (конец XVI, начало XVII века, становление династии Романовых). Главный герой её – Самозванец Лжедмитрий I, восшедший на русский престол с помощью польского и казачьего войска. Лжедмитрий I считал себя настоящим царевичем, сыном Ивана Грозного, спасённым от убийц, посланных Борисом Годуновым. Получив европейское образование, он стремился направить свои царские усилия на благо Руси, но не сумел преодолеть противоречий между разными слоями населения. Бояре, казаки, простолюдины, польская шляхта – все хотели своего. Он, к тому же, был гуманен и пытался править без насилия. В результате был убит боярами во главе с Василием Шуйским в Кремлёвском дворе. Тайна его происхождения не раскрыта до сих пор. Книга написана по архивным материалам. Галкин А.В. (1877–1936) полностью осуществить свой замысел (трилогию) не успел: был репрессирован, а рукописи второй и третьей частей были уничтожены, как и все его документы, рисунки, скульптуры. Сохранилась только первая часть – «Царевич Димитрий». Эта книга издана в Гослитиздате в 1936 году, а после ареста была изъята из всех библиотек и книжных магазинов. Остаток тиража сожжен во дворе Лубянской тюрьмы. Единственный экземпляр романа хранится в Государственном архиве Российской Федерации, подаренный его старшей дочерью, З.А. Трояновской. А.В. Галкин реабилитирован в 1959 г. Журнальный вариант романа выходил в «Роман-газете» в 2004 г. Был признан лучшим романом года.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-4329-0045-6

© Галкин А. В., 1936  
© Издательский дом «Сказочная  
дорога», 1936

## Содержание

Расстрелянный роман[1]	7
В буре революции	8
Погружение в историю	12
Непримиримый Галкин	15
О причинах расправы над романом	21
Царевич Димитрий	26
Глава первая	26
Глава вторая	52
Глава третья	68
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# **Александр Владимирович Галкин**

## **Царевич Димитрий**

© Галкин А.В., 2013

© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2013

## **Расстрелянный роман<sup>1</sup> О судьбе Александра Галкина и его романа «Смута»**

*Более 130 лет назад родился Галкин Александр Владимирович (10 марта 1877 г. – 5 октября 1936 г.). Современному читателю это имя мало что говорит, но знатокам истории русской литературы оно хорошо известно.*

*А.В. Галкин задумывал написать трилогию о смутном времени – о том глубоком духовном, экономическом, социальном и внешнеполитическом кризисе, который разразился в России в конце 16-го – начале 17 века. Но полностью осуществить замысел ему не удалось. Вышла только первая часть романа – «Димитрий» (Гослитиздат, 1936 г.). В октябре 1936 года автора расстреляли. Был уничтожен тираж книги, а также рукописи, рисунки, картины, документы, скульптуры А.В. Галкина. Старшая дочь Александра Владимировича Зинаида Александровна Трояновская передала в Госархив один сохранившийся у нее экземпляр романа. Там он ныне и хранится. Пока неизвестно, уцелели ли еще экземпляры романа издания 1936 г.*

*Младшая дочь автора Ирина Александровна Каширина, хлопотавшая об издании романа, сделала его ксерокопию и предложила журналу «Роман-газета» для публикации. Роман вышел с некоторыми сокращениями в 2004 г. под названием «Царевич Димитрий». Александр Галкин стал (посмертно) лауреатом премии «Открытие», ежегодно присуждаемой журналом «Роман-газета». Публикация романа действительно стала открытием. В 1936-м его прочитали немногие...*

*Каким он был, Александр Владимирович Галкин? О чем говорят сохранившиеся (весьма немногочисленные) документы, воспоминания людей, близко знавших его?*

*Что привело автора к столь трагической развязке и повлияло и на его судьбу, и на судьбу написанного им?*

---

<sup>1</sup> Сокращенный вариант статьи опубликован в газете «Литературная Россия», № 05. 03.02.2012

## В буре революции

После окончания Мещанского училища, готовившего торговых конторщиков, А.В. Галкин работал у разных купцов и подрядчиков. Потом, как пишет сам Александр Владимирович в автобиографии, датированной 7 октября 1932 г., отбывал воинскую повинность «в Ложме в пехотном полку», а по окончании службы работал конторщиком в Управлении северной железной дороги.

В 1904 г. вступил в РСДРП.

Во время вооруженного восстания на ст. Москва-Пассажирская в 1905 г. «был членом дорожного стачечного комитета и принимал участие как в остановке движения, так и в сражении с казаками на путях у дома Мозжухина».

А в августе 1906 г. «организовал группу для экса денег (на нужды партийной организации – *Н.Р.*) у артельщика на Северной ж.д.». Во время «экса» один из членов группы был ранен. Остальные ушли, а Галкин остался с раненым, «сделал ему перевязку и вместе с ним был арестован».

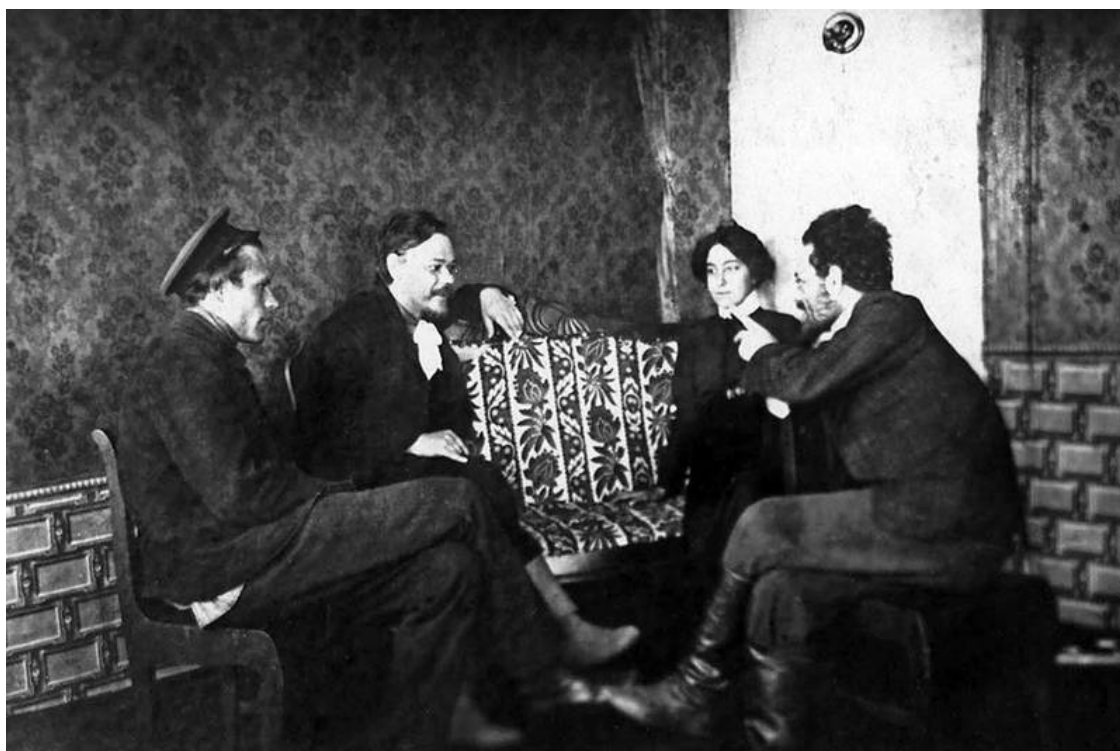
На суде его оправдали (спасенный им товарищ его не выдал).

В 1908 г. был выслан на 5 лет в Тобольскую губернию и проживал в Туринске и Туринском уезде (до амнистии).

Потом жил и работал в Санкт-Петербурге, Минске.

В октябре 1917 года был делегирован от г. Орши в Петербургский военно-революционный комитет на 2-й съезд Советов. Избран в Октябрьский ревком.

Судя по имеющимся документам, А.В. Галкин был решительным человеком, действовал весьма активно, как требовала революционная обстановка. Например, выполняя поручение Я.М. Свердлова, ликвидировал забастовку типографии газеты «Правда» «в два счета», как он пишет в автобиографии, – «путем душевного разговора наедине с хозяином типографии, убежденного моим наганом и мандатом ревкома в необходимости удвоить расценки».



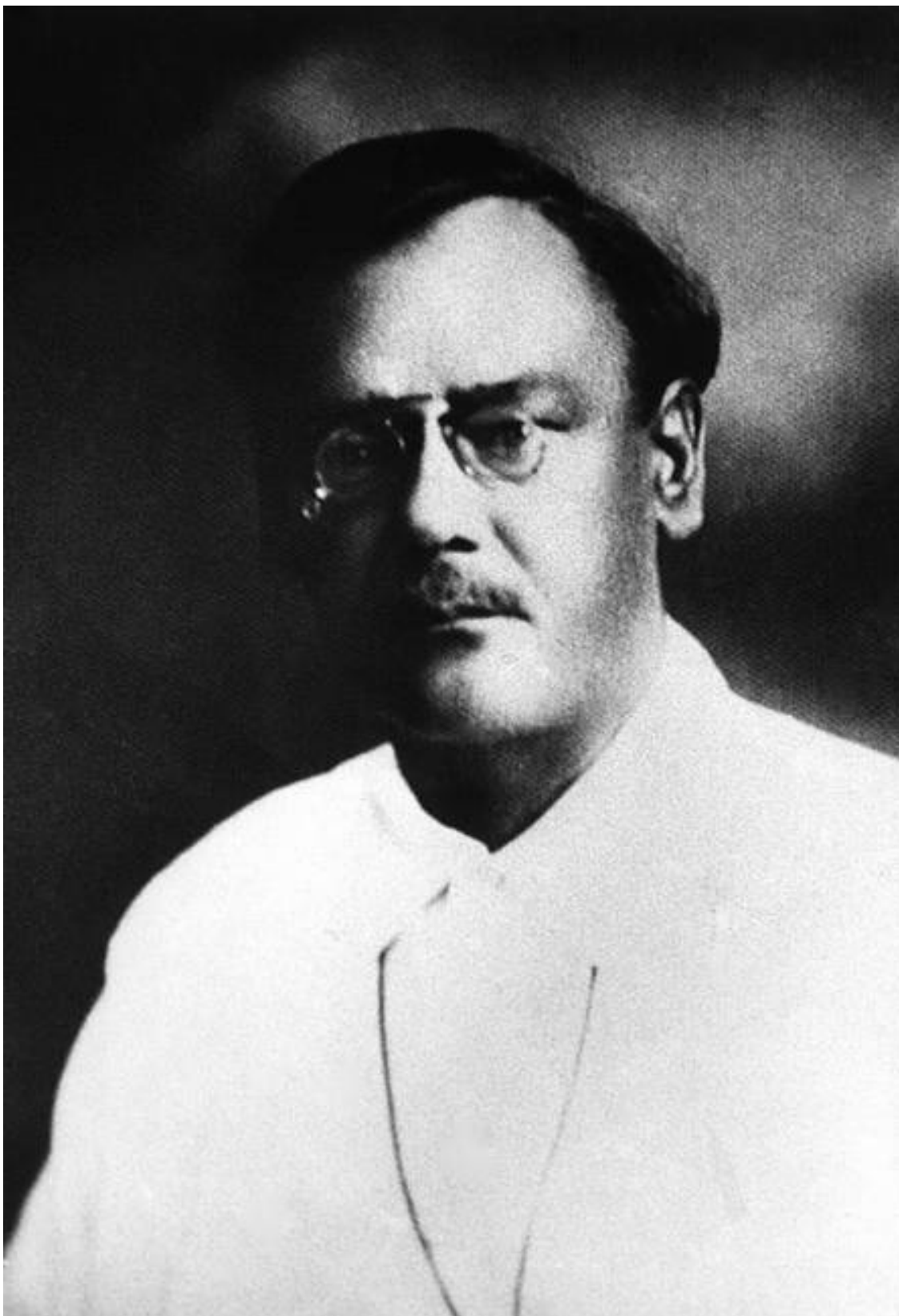
А.В. Галкин – второй слева. Туринск Тобольской губ. 1911 г. Бывалый, своеобразный, все замечающий, казалось, Александр Владимирович знал все на свете. Был прекрасным рассказчиком. Его любили слушать



А.В. Галкин (второй слева) в д. Вешняки (сейчас Выхино) Московской губернии с матерью, сестрами и братом Пантелеймоном. 1912 г.



А.В. Галкин с родственниками. 1915 г.



А.В. Галкин

«В начале 1918 г. эвакуировал из Питера в Москву правительство и весь аппарат... Переехало в Москву около 70 000 человек» (из автобиографии). А.В. Галкин участвовал во многих значимых событиях бурных революционных лет.

Как человек незаурядный, одаренный природой многими талантами, он занимал важные посты в руководстве молодой советской республики. В течение двух с половиной лет – председатель Малого Совнаркома. Эту свою работу он считал лучшей. Малый Совнарком находился «под непосредственным наблюдением Ленина».

В 1921–1929 гг. – заместитель председателя Верховного суда РСФСР. Как он пишет в автобиографии, «принимал активное участие в выработке всех советских законов по уголовной юстиции».

По воспоминаниям его супруги Лидии Ивановны Галкиной, он был юристом от бога, «окончил Демидовский Ярославский лицей (юридический), в совершенстве владел латинским языком и досконально знал юридическое законодательство с древних времен», включая римское право.

А.В. Галкин действительно был незаурядным политическим деятелем своего времени и весьма одаренным литератором.

Когда же А.В. Галкин вышел на пенсию (1934 г.), он активно занялся литературной работой, изучением архивов – стремился воплотить в жизнь замысел романа о смутном времени.

## Погружение в историю

Многие знавшие А.В. Галкина называют его самородком.

«...Галкин удивлял... многообразием интересов и разносторонностью знаний, – пишет о нем русская советская писательница Г.И. Серебрякова (1905–1980) – Александр Владимирович превосходно постиг живопись, сам занимался ваянием, глубоко изучил русскую и мировую классическую литературу, любил музыку, особенно оперную... Он с большим чувством играл на скрипке и флейте и, по мнению знатоков, мог бы стать выдающимся музыкантом-профессионалом» (О других и о себе. Новеллы. – Москва: Советский писатель, 1968).

Талант его проявлялся во всем и везде.

Находясь в царской тюрьме, он лепил барельефы из глины. В ссылке увлекался фотографией, пел в церковном хоре...

Позволим себе привести здесь отрывок из воспоминаний жителя села Самарово Екима Гавриловича Корепанова:

«...Первая партия политссыльных из 20 человек прибыла в Самарово в 1906 году. Это были участники революционных событий 1905 года. Среди них были плотники, копильщики рыбы, переплетчик книг. Ссыльный Гришаев открыл кузницу, а потом и «Завод фруктовых вод», как гласила вывеска на одном из зданий села. Ссыльный Галкин увлекался фотографией, и благодаря ему мы имеем изображение села начала XX века. Кроме того, он пел в церковном хоре, которым руководил техник ремесленного училища Семен Николаевич Банников.

Самыми «политически подкованными» были Никитин и Бублик. Они читали газеты и проводили с местными жителями что-то вроде политинформаций. По инициативе политссыльных и с их участием было поставлено несколько спектаклей. Разрешение на постановку давал сам генерал-губернатор.

После революции почти все ссыльные покинули Самарово. Лишь один политссыльный Н. Трофимов здесь женился, построил дом и прожил в селе до самой смерти, то есть до 1948 года» (официальный портал администрации г. Ханты-Мансийска. <http://www.admhmansy.ru>).

Но «особой страстью» А.В. Галкина «была история и юриспруденция... Большой интерес к истории России привел его к старинным летописям, и он с увлечением изучал документы на древнеславянском языке», в нем «уживались мечтатель, боец и многогранный художник» (Г. Серебрякова. *Там же.*)

Об этих же чертах характера Александра Владимировича пишет в своих воспоминаниях и его дочь З.А. Трояновская, свидетельствуя, что эта мечтательность, склонность к грезам не мешала ему «безо всякого усилия оторваться от самых заманчивых картин и вернуться к действительности. А в ней он был трезв, любил точность, ясность, не терпел иллюзий и недомолвок».

Работая в архивах, он нашел своего предка по имени Халхин. Тот делал царю Петру уздечки и перчатки. «От него Александр Владимирович унаследовал восточную созерцательность и страсть к разным художествам и фамилию Галкин» (из воспоминаний З.А. Трояновской).



И.А. Каширина (Галкина). 1957 г. Москва

– Я такие перчатки видела в Измайлове, в музее Романовых, – рассказывает младшая дочь Галкина Ирина Александровна Каширина, – конечно, нельзя определенно утверждать, что это именно те перчатки, которые изготовил далекий предок моего отца, там не стоит клейма «Халхин», но мне был интересен этот факт... И кто знает...

В 2005 году Ирина Александровна записала воспоминания матери об отце.

Там есть такие признания Александра Владимировича: «Я люблю оглядываться назад, в прошедшие века. Это стало алкоголизмом, ядом, мешает жить настоящим. Я люблю Кремль. Здесь каждый камень напоминает историю». Он водил экскурсии по Кремлевской стене, соревнуясь в исторических знаниях с известным историком М.Н. Покровским (1868–1932)».

Он любил театр. До октябрьской революции (в 1903 г.) участвовал в спектакле «Юлий Цезарь» во МХАТе. Был завсегдатаем Большого театра, любил оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Царская невеста».

Но как бы Александр Владимирович ни погружался в историю, бурное время заставляло его жить трагическим настоящим.

Он предпринял все возможные попытки (ходил по всем инстанциям), пытаясь спасти Чудов монастырь и Храм Христа Спасителя.

Можно только догадываться, что творилось в душе А.В. Галкина, когда на его глазах уничтожались русские святыни.

Не случайно из него вырывалось: «Тоска у меня. Если бы мог пить, то каждый вечер напивался бы пьяным».

## Непримиримый Галкин

И Галина Серебрякова не могла не заметить эту, поразившую ее перемену. Вот что она пишет о встречах с Галкиным в 1934 г.:

«...Обычное спокойствие и невозмутимость покинули его... «Социалистическая законность, – сказал он мне как-то, – основа государственного, а значит, и партийного в нашей стране благополучия. Так было при Ленине и затем после его смерти. Но вот теперь прокуратура в руках карьериста, бывшего завзятого меньшевика Вышинского. Этот человек без сердца и совести может оказаться роковым для советской юстиции. Он способен на любое подлое дело ради своей выгоды. В партии он чужак, она ему не дорога. Я высказал ему это все прямо в глаза. Вышинский, естественно, меня ненавидит. Есть у меня большая докладная, где я изложил свои мысли и опасения». Этот «непримиримый Галкин», как звали его сослуживцы (а начальство терпеть не могло за язык), бессребреник, высказался прямо – не опасаясь за свою судьбу.

Как пишет Т. В. Морозова, методы Вышинского «отчаянно будет критиковать в своих докладных... Александр Владимирович Галкин, требовавший соблюдения социалистической законности, да еще Николай Васильевич Крыленко отважится настойчиво отстаивать презумпцию невиновности в полемике с Вышинским... (Т. В. Морозова. Призрачные тени шахматной истории. Судьбы, перечеркнутые тиранией. – Одесса: «Астропринт», 2004).

Советский разведчик Александр Орлов в своей книге «Тайная история сталинских преступлений» (М.: «Автор», 1991)<sup>2</sup> пишет:

«Я занимал тогда должность помощника прокурора апелляционной коллегии Верховного суда. Все мы – прокуроры и судьи – раз в день сходились в «совещательную комнату» попить чайку.

Хорошо помню, как однажды, когда мы все сидели в этой комнате, дверь приоткрылась и заглянул Вышинский. Все посмотрели в его сторону, но он не вошёл, небыстро притворил дверь.

– Я его терпеть не могу! – с гримасой неприязни сказал Галкин, председатель апелляционной комиссии.

– Почему? – спросил я.

– Большевик, – пояснил сидящий рядом Николай Немцов. – До двадцатого года всё раздумывал, признать ему советскую власть или нет.

– Главная беда не в том, что он меньшевик, – возразил Галкин. – Много меньшевиков сейчас работает с нами, но этот... он просто гнусный карьерист!»

И читаем далее: «Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большевики один за другим убираются из Верховного суда. Крыленко исчез в начале 1938 года.

Одновременно исчезла его бывшая жена Елена Розмирович, работавшая до революции секретарём Заграничного бюро ЦК и личным секретарём Ленина.

В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясён случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились глазами.

Я немедленно зашёл в кабинет Бермана и попросил его помочь Галкину, чем только можно.

Берман сообщил мне, что Галкин арестован на основании поступившего в НКВД доноса, будто он осуждает ЦК партии за роспуск Общества старых большевиков. Донос поступил от Вышинского.

---

<sup>2</sup> Книга А. М. Орлова сначала вышла на Западе в 1953 г.

Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин ещё раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие «нужный человек на нужном месте». В целом государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счёты со старыми большевиками».

Александр Орлов был последним, кто видел А.В. Галкина живым.

До ареста Александр Владимирович жил в доме по ул. Серафимовича, 2 («Дом на набережной»). Сотрудница краеведческого музея «Дом на набережной» Татьяна Ивановна Шмидт познакомила меня с документами, относящимися к А.В. Галкину, любезно предоставила редкие фотографии.

Александр Владимирович жил в одной из комнат 337-й квартиры, а две другие занимали старые большевички сестры Мураловы, Софья Ивановна (1868–1931) и Юлия Ивановна (1876–1943).



Дом на набережной (ул. Серафимовича, 2). Фото Николая Редькина. 2009 г.

Софья Ивановна умерла вскоре после заселения в квартиру, а Юлию Ивановну не обошли политические репрессии тех лет. Ее арестовали 21 июля 1937 г..

Она умерла в местах лишения свободы.

В этой же квартире проживала племянница сестер Мураловых Ирина Федоровна Лизарева. Она также была арестована в 1937 г. Срок отбывала в Медвежьегорске. Потом вернулась в Москву.

В этой 337-й квартире Александра Владимировича навещала его старшая дочь Зинаида (З.А. Трояновская) – от брака с Лидией Ивановной Соколовой.

(Сначала Лидия Ивановна играла роль «невесты». Так она и фигурировала в судебных процессах над Галкиным – после «экса денег» в 1906 г. Навещала его в царской тюрьме. Потом фиктивный брак «перешел» в настоящий, но впоследствии распался). Зинаиде тогда было лет двадцать. Но чаще отец встречался с ней вне дома, так как помещения дома прослушивались.



А.В. Галкин с дочерью Зинаидой. 1928 г.



На обороте этой фотографии надпись: *«Милой Тamarочке Кашириной для памяти. 24.IX.1930 г.»*

Сюда, в Дом на набережной, к Александру Владимировичу приходили товарищи по партии, обращались артисты за помощью. Бывала здесь певица Ксения Георгиевна Держинская (1889–1951) – знаменитое сопрано Большого театра. У Александра Владимировича тогда была

общественная партийная нагрузка – помогать артистам, и он помогал чем мог (дровами, продуктами и пр.).

В начале 1930-х годов сюда часто приходила молодая девушка, которую он звал «Тамурочкой» (Тамара Ивановна Каширина). Несмотря на большую разницу в возрасте (30 лет), между ними завязалась дружба. Оба любили музыку, русскую литературу, ходили в Большой театр, восхищались Обуховой...

Эта дружба переросла в любовь. В 1932 г. у них родилась дочь Ирина (И.А. Каширина).



А.В. Галкин и Т. И. Каширина. 1930 г.

К сожалению, тогда он был не готов связать себя семейными узами с Т. И. Кашириной. По свидетельству людей, близко знавших его, он был человеком непрактичным, вольнолюбивым. И лишь в 1936 году они снова встретились, собирались пожениться, но не успели... А.В. Галкина не стало 5 октября 1936 г. Было ему тогда 59 лет.

Реабилитирован 13 февраля 1959 г.

Прах Александра Владимировича Галкина покоится на Донском кладбище, клумба № 1.

## О причинах расправы над романом

Имя Галкина было вычеркнуто из истории, а роман о смутном времени – из русской литературы. Причина, видимо, не только в том, что автора записали во «враги народа», но и в том, что «вождь всех народов» Сталин принимал личное участие в переосмыслении русской истории.

Не могла не возобладать его точка зрения на эпоху Смуты, о чем, в частности пишет Дмитрий Салынский: «Перед Второй мировой войной возобладала сталинская концепция народной войны против поляков, которые оказались воплощением всего мирового зла» («Историк и художник», 2004. № 1).



Лжедмитрий I



Марина Мнишек

Димитрий, Марина Мнишек

О том же пишет и Василий Токарев в статье «Минин и Пожарский»: Спасение в Смуте?» и указывает, какая критика обрушилась на вышедшие в те годы исторические романы «Смута» А.В. Галкина и «Дикий камень» Зиновия Давыдова: «В том и другом романе присутствовали образы и идеи, внезапно вышедшие из научной моды.

В «Смуте» Галкин изобразил Лжедмитрия подлинным царевичем, патриотом и человеком государственного ума. На досуге царевич Димитрий, по словам Галкина, «усиленно занимался науками, читал поэтов, восторгался римскими стихами, сочинял всевозможные планы завоевания Турции, Кавказа, Индии, устройства в Москве культурных учреждений, хорошего суда, где не брали бы взятка, и европейского войска».



Ксерокопия обложки первого издания романа. Художник Б. Дегтярев

Будучи хорошо образованным человеком, Димитрий не приемлет боярского невежества и бескультурности. Но планам прогрессивного царя, радевшего о простом люде, не суждено было сбыться. Чинимые безобразия и бахвальство польской шляхты и челяди, понаехавшей в Москву на свадебные торжества в свите Марины Мнишек, оказались выгодными кружку боярина Василия Шуйского... «Государственный пе реворот» заканчивается подлым убийством Димитрия, в то время как рядовые москвичи были с боярами лишь в одном – в кровавом

погроме шляхтичей: «...толпы народа вместе с князьими холопами, а также с выпущенными из тюрьмы ворами растаскивали польские достатки, уводили лошадей» (Галкин А.В. «Смута». Кн. 1. М. 1936. С. 120, 207, 391, 431.).

(<http://som.fio.ru/item.asp?id=10016128>).

В. Токарев в своем исследовании довольно подробно останавливается на событиях смутного времени и на том, как они трактовались в 1930-е годы прошлого века, например, разбирает творчество В. Б. Шкловского, его повесть «Русские в начале XVII века», фильм «Минин и Пожарский» (вышел в прокат в 1939 г.), автором сценария которого был Шкловский.

По мнению В. Токарева, работа «Русские в начале XVII века» «была написана как бы в опровержение раскритикованных романов Галкина и Давыдова. Самозванец Лжедмитрий был назван ставленником поляков и учеником иезуитов...». Действительно, надо признать, что «история смутного времени долго толковалась под влиянием различных политических интересов» (В. Токарев. *Там же*).

И в наше время интерес к эпохе великой смуты не ослабевает, скорее напротив. Ответственностью активно обсуждается тема «1612 год и наше время».

Публицисты (как зарубежные, так и отечественные) проводят исторические параллели, сравнивая время великой смуты с нашим временем, оценивая действия политиков и президентов.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Т А Й Н А



**БОЯРИН** Федор Никитич Романов, псковский воевода и родственник царя, приехал в Москву в начале 1596 года по вызову государя, пировал с друзьями в своем доме на Варварке, принимал их поздравления с царской милостью (за добрые переговоры со шведами получил он чин боярский и мешок червонцев). Пил с ними за здоровье царя и его все- сильного шурина Бориса Федоровича Годунова, лобызался, кланялся, говорил приветливые слова, угощая всех изысканными блюдами прославленной своей кухни. Стоялые мефы и заморские ромашки под конец обеда, когда заягли свечи, так настроили дорогих гостей, что они, промком рыгая, орали сразу в несколько голосов, распахнули драгоценные пгубы, а под ними — кафтаны и, не стесняясь, издавали звуки не совсем приличные. Некоторые, не будучи в состоянии — под тяжестью выпитого и съеденного — продолжать «здравное посидение», валились на лавки, а любезный хозяин распорядился проводить их на покой. В числе последних оказался и родной младший брат воеводы — Иван Никитич. Федор помог ему

Начало первой главы романа

На экраны вышел фильм В. Хотиненко «1612: хроники смутного времени», получивший разноречивые отклики в прессе.

Мне представляется, что российскому читателю будет небезынтересен взгляд на эпоху Смуты и талантливое писателя, знатока русской истории Александра Владимировича Галкина.

Вопросы становления российской государственности волновали его в тридцатые годы прошлого века, весьма драматичные, переломные.

В настоящее время были предприняты попытки найти в архивах рукописи еще двух частей романа, но, к сожалению, они не дали результатов.

Но первая часть – «Димитрий» – весьма самостоятельное, законченное произведение. Выход его в свет – хороший подарок российским читателям, небезразличным к судьбе своего Отечества.

*Николай Редькин, член Союза писателей России*

# Царевич Димитрий

## Глава первая Тайна



Боярин Фёдор Никитич Романов, псковский воевода и родственник царя, приехал в Москву в начале 1596 года по вызову государя, пировал с друзьями в своём доме на Варварке, принимал их поздравления с царской милостью (за добрые переговоры со шведами получил он чин боярский и мешок червонцев). Пил с ними за здоровье царя и его всесильного шурина Бориса Фёдоровича Годунова, лобызался, кланялся, говорил приветливые слова, угощая всех изысканными блюдами прославленной своей кухни. Стоялые мёды и заморские романеи под конец обеда, когда зажгли свечи, так настроили дорогих гостей, что они, громко рыгая, орали сразу в несколько голосов, распахнули драгоценные шубы, а под ними кафтаны и, не стеснясь, издавали звуки не совсем приличные.

Некоторые, не будучи в состоянии – под тяжестью выпитого и съеденного – продолжать «здравное посидение», валились на лавки, а любезный хозяин распорядился проводить их на покой. В числе последних оказался и родной младший брат воеводы – Иван Никитич.

Фёдор помог ему встать и сам отвёл в особую комнату, в которой гость, лишь только вышли слуги, сейчас же опомнился и сказал:

– Огня не надо мне, посижу при лампадах божьих. Кваску бы ковшичек. Да не томись там долго, Федя.

– Чаю, скоро уйдут, потерпи малость, – ответил тот и, приказав подать брату квасу с мерзлой клюквой в меду, вернулся к гостям.

Пирушка и в самом деле скоро окончилась. Опять кланялись, целовались, поминали родителей, усаживались в сани или в сёдла верховых лошадей и, наконец разъехались, разошлись на ночлег по горницам и тёплым сеням. Хозяин освободился и с зажжённым трёхсвечником в руках явился в ту комнату, где оставил брата, тщательно закрыв двери не только здесь, но и в соседних помещениях.

– Ух! – сказал он, ставя подсвечник на парчовую скатерть и садясь на мягкий табурет. – Умаялся, да и в голове шумит. Можя, завтра вечер покалякаем, посля трапезы, али утрава?

– Не! И не мысли, Фёдор! Дело тяжкое, и нужно разума твоего вскорости, а завтра, можя, и не доведётся. Нарочито яз и пьяным прикинулся – чтобы домой не ехать, а у тебя остаться.

– Ну, сказывай.

– Зришь ли, брате? Держать его на моём дворе боле не можно, да и на твоём также. Глядят во все очи, со всех сторон, примечают; на людишек надёжи нету, и нужно искать ему пристанища на стороне.

– Да ведь опричь нас душа единая не ведаёт, чей сын у нас. Аль сам он догадки подаёт?  
– Есть и тако. Хоть и понятлив, да мал ещё, не в смышлении. В субботу, с горы катаясь, поругался с ребятами и крикнул им: «А ведаете ли, на кого глотку дерёте и кулачье подымаете?» – да, одначе, подержался, дале не сказал, ну а всё же неладно: уши слушают, не забывают. Намедни же баба некая на улке спросила его про отца с матерью.

– Ну, и какво отвечал?

– Сказывал себя сыном Богдана Отрепьева, галицкого дворянина, сиротства ради живущим в дому моём – по дружбе моей с покойным отцом его. Научен он крепко, да ежели схватят, так допытаются. Однако без провожатых ныне никуда его не пушчаю.

– Ведома ли кому наша тайна?

– Подьячему нашему, Прошке Беспалому, и боле никому.

– Так что же сотворить мыслишь, Иван Никитич?

– Ума не приложу, брате. Но боюсь шибко! Можа, ты его с собою во Псков возьмёшь? Али дозволишь отказать от него навовсе?

– Отказаться не можем, того и не думай, друже. Вспомни, скольких трудов нам стоило достать сего отрока! Тут знатная статья наша: коли сумеем в своё время клич кликнуть – конец Годунову. Берегчи надо Юрия, сколь сил хватает. С собою же увезти его тоже не могу: во Пскове ещё хуже будет, чем на Москве, и спрятать негде – живу что на площади торгую: весь город видит. Вот задача!.. – развёл он руками и в раздумьи заходил по горнице. – В монастырь его!.. Боле ничего измыслить не натужусь. В Симонов, к Геласию – наш владыко.

– Послушником?

– Нет, монахом. Постричь скоро и клобук надеть – вернее будет.

– Тяжеленько ему придется, да и не миновать открыть Геласию, кто он таков.

– Открывать всё до конца нужды не вижу, но коли надо будет, откроем – ему можно.

– Велика тягота! Да неужто иначе не можем сохранить?

– И сам скорблю, не хочу сего, да нет исхода, не вижу верности нигде.

Они долго говорили ещё о том, куда спрятать своего воспитанника – четырнадцатилетнего мальчика Юрия Отрепьева, придавая огромное значение его существованию и воспитанию.

Исчерпав все возможные варианты помещения юноши в домах других братьев Романовых и отвергнув мысль об обращении к иным боярам по ненадёжности, они остановились на монастырских стенах. Но тут требовалось согласие его самого, и Фёдор Никитич приказал позвать отрока.

Вошел хорошо одетый молодой человек, ростом выше своих лет, с несложившимся ещё лицом, небольшими умными глазами и упрямой, несколько горделивой посадкой головы. Когда все двери были снова наглухо затворены и проверены, оба брата встали и, земно поклонившись вошедшему, посадили его в кресло и поцеловали руку.

– Царевич! – сказал Фёдор. – Мы здесь беседу тайную держали о твоём здравии и благоденствии. Времена ныне лихие, а дале и ещё хуже будет. Враг твой и наш Годунов Бориска рыщет повсюду и всяко слово слушает: чуть невпопад сказано – тот же день ему доносят. Опасность велия! Да хранит тебя Пречистая! На дворах наших нет крепости, и живота тут не сберегчи, надо уходить. Да не нашли мы иного места для тебя, государь наш, како в монастырь Симонов, к архимандриту Геласию. Ты его ведаешь – старче смиренный, и тебя полюбит. Но нужно восприяти чин ангельский.

– Постричься? – быстро спросил Юрий, бледнея.

– Не пужайся, Дмитрей Иванович: постричься не на веки вечные. Клобук не прирастёт ко главе твоей, и в своё время его снимешь – Бог простит, и патриарх святейший от клятвы разрешит. А с кафтанами шёлковыми, забавами детскими надо расстаться, государь, и жить в тишине чернецкой, к службам Божьим радеть и книги святые читать.

– Доколе же?

– Господь ведаёт! Брат твой, государь Фёдор Иванович, – сохрани его Господь – здоровьем слаб, на ладан дышит и может скоро преставиться – вчера мне сказывал о сём лекарь его немецкий, да и Годунов то ж думает. По кончине же его царской престол ты наследуешь, и мы тебя объявим всему народу Не печалься, батюшка, – верные твои слуги стоят вокруг тебя и не выдадут!

– Не хочу яз в монахи! Не жалеете вы меня, бояре, хоть и величаете царевичем своим.

– О государь! Сердце ноет и тоскует от скорби сей! Много думали мы о тебе, како сохранить тебя, да нету силы блюсти по дворам нашим – розыщет проклятый!

Чужим же людям отдать – заверное погубить. И вот страха ради смертного, по злой нужде, под рясою скрываться наш царевич будет. Иного не промыслишь, и да сохранит тебя царица небесная! А мы, твои рабы, всегда с тобою. Решайся, государь!

– Горько сие, не люблю чернецов.

– Пойми ты, что тут тебя любой пьянчуга зарезать может, а коли живого уведут – натерпишься страстей ужасных! У Геласия же никто не будет ведать о тебе, имя твоё переменится, и покуда распознают – в сохранности пребудешь. Не о себе печёмся, царевич, а токмо о твоём благополучии.

– О, сколь тяжко, лихо! – простонал мальчик и задумался со слезами на глазах; потом, махнув рукою, произнес тихо: – Ну что ж! Ничего не поделаешь... Да будет воля Божия!.. Видно, чему быть, тому не миновать. Боле не перечу! Когда же идти туда? С тобой поедем, Иван Никитич?

– Нет, государь, – возразил Фёдор, – с ним не можно, приметно то. Ехать тебе с нашим Прошкою, в одежде скудной. Яз же повидая Геласия и скажу ему обо всём заранее – дабы встретил с благословением. Езжайте в воскресенье, под вечер. А ныне попрощаемся – яз скоро во Псков отбуду, и, можа, боле не свидимся. Прости, государь царевич Дмитрей Иванович, слугу верного!

Он снова земно поклонился Юрию. Потом, достав из божницы небольшой, золотой с эмалью, крест итальянской работы на цепочке, осенил им мальчика, приложил к его губам и надел на него.

– Се матушка твоя прислала мне для тебя со сказом нарочитым, что получила она сей крест от родителя твоего – помяни, Господи, его душу! Береги, государь, отцовское благословение пуще живота своего!

Он хотел поцеловать руку Юрия, да тот сам обнял Романова и расцеловал его.

– Прощай, боярин! Здрав буди! Не поминай лихом! – вымолвил он, уходя и старательно пряча под одежду подаренный крест и цепочку.

– Да поможет владычица! – проговорил Фёдор, оставшись с братом. – Царь Фёдор не жилец на миру; како видел его вчера – мыслю, и года не протянет в своей немочи, и в кремлёвских кутах уже шепчутся, кому шапку крестовую носить. Бориска непрестанно готовит роду своему достояние сие, но мы тож не спим, посильно делаем, что можем, и подпору в народе имеем. Дружил яз с Годуновым крепко до той поры, пока не узнал, куда клонит хотение его, а в сей приезд воочию убедился, что желает он на престоле сидеть. И уже ныне такую честию себя окружил, что лишь царям подобает, имя своё наравне с царским пишет и послов иноземных при рындах принимает. То нетерпимо есть! По правде божьей на царство сести должен яз, как ближний сродственник государя и в роду своём старший. Окромя нас, Романовых, есть и другие дворы, превыше нас знатностью, – Рюриковичи, тож наследники законные, не чета Борису; да токмо власти той, что он ныне имеет, у нас нету, а потому и надёжи мало, И буде не осилим тогда ехидну, то Юрий нам пригож окажется – подыдем на нём смуту великую и опять борьбу поведём.

– Буде же ты, Федя, царю наследуешь, то скажем Юрию, что он не царевич, что ошибка с ним вышла, и пусть тогда в монасах остаётся.

– Ну нет! Ежели яз царем сяду, то нам потребно будет напрочь от него избавиться и все концы сокрыть, – царевич Димитрей должен тогда почитаться умершим в Угличе и навек забытым.

– Можно и так. Избавиться, когда хошь, не трудно будет.

– Но нужно не терять его из виду и следить за ним непрестанно. Ты, брате, в мою отлучку возьми о сём заботу на себя, не упускай его из очей своих, чтобы во всяко время знать, где он обретається.

В сумерки назначенного дня Прошка Беспалый по поручению Романовых привез молодого Юрия в Симонов монастырь и сдал настоятелю. Геласий ласково принял Юрия и даже предложил ему остаться в качестве служки, после приёма сам проводил в крошечную келийку – щель между двух стен – рядом со своей спальней. Затем, вернувшись в покой, где стоял Прошка, и затворив двери, он заговорил шепотом:

– А что, чадо, были ли у покойного Богдана Отрепьева дети? Ведаешь ли?

– Не было детей. Яз видывал жёнку его, тож покойную, она сказывала – была у неё дочка, да Господь прибрал маленькую, а боле не было. Юрия же Богдановича просто записали на Отрепьева, опосля Богдановой смерти, и сказали круглой сиротою.

– А видал ли ты углицкого царевича в лицо?

– Не, владыко, не видал. Боярин же за тайну сказывал, что Юрий Богданович и есть тот царевич, а не Отрепьев сын, и говорил давеча, что сие также и твоему преподобию ведомо.

Архимандрит встал, открыл дубовый ларь и достал из него великолепную соболью шапку с малиновым верхом.

– Возьми, сыне, на поминку благословение обители нашей, от избытков моих, за простоту твою сердешную. Да не кланяйся, а скажи: как мыслишь – царевич то аль не царевич?

– Пошли тебе Господь, владыко святой, за щедроты твои! – ответил подьячий, целуя полу чёрной рясы. – А про Юрия вот что ведаю. Яз получил его в тот самый год, как случилось злое то дело в Угличе. Откуда он – неведомо. Да лета через два гостил у меня чернец некий из тех краёв, Мартын Сквалыга по прозванью, кой часто видывал царевича Димитрея, и мать его, и дядей во дворе ихнем – принимали они сего старца по жизни его святой. Так вот, он мне рек, что малец Юрий пречудно похож на царевича не токмо обличьем и власами, а и ростом, и повадкою. Но видел Мартын покойного царевича убиенна и лобызал уста его во гробе, с прискорбием и ничтоже сумняшеса. В ту пору яз сказал боярину Фёдору Никитичу про сие, и он повелел того монаха боле не пущати во двор и Юрия ему не казать. До нашего же дома жил он в Ярославле у некоего священника, а долго ли, кратко ли – не ведаю.

Настоятель отпустил Прошку, обещавшегося заходить раз в месяц для поддержанья связи с романовским домом, и задумался. Отрок Юрий отчасти напоминал ему царя Ивана, когда тот был ещё молодым, каким помнил его архимандрит Геласий – ровесник Грозного. Очень может быть, что это его сын, удачно спасённый в Угличе от Борисова ножа, может быть, даже заранее увезённый оттуда и подменённый другим, сходственным мальчиком, – теперь всего не разобрать. Но ежели это и не так, если Димитрий давно в могиле, а сей отрок найден впоследствии и научен держать главу по-царски, то надо признать, что устроено сие вельми искусно и далече зряще, – ему не придётся лгать и притворяться: он искренно считает себя царевичем. А некоторое сходство с отцом есть! И в таком случае всё равно – сын ли он покойного царя, нет ли, но каша для Бориса заварится такова, что не расхлебает чёртов сын вовек!

Игумен не сомневался, особенно после вчерашнего разговора с Фёдором Романовым, в том, что Годунов, ввиду близкой царёвой смерти, готовит себе царский престол. Только дурак не чует такого поворота! Вот тут и будет ему уготован пирожок с начинкою! И все его обиды

будут-таки отомщены! Покойный князь Иван Петрович Шуйский (первое всех был бы наследник царства!) и прочие умученные други воздаяние получают за кровь свою неповинную! И сам он, Геласий, насильственно – в наказание за дружбу с Иваном Шуйским – постриженный Борисом в монахи, без Годунова архиереем будет, а может стать, и митрополитом. По роду своему он давно бы должен быть епископом, но Борис держал его «в чёрном теле». Надо принять все меры, чтобы свалить сильного врага, – тут все способы хороши, и подставной царевич весьма пригодится. Да ещё может быть, что он вовсе и не подставной, а настоящий! Разузнать же обо всём, касающемся прибывшего в монастырь юноши, со временем будет не так уж трудно: надо только поублажить мальчика да умело расспросить о раннем детстве, с тех пор, как себя помнит.

Ночевавший по случаю позднего времени в монастыре, Прошка, выезжая утром, после обедни, из ворот, встретил того самого Мартына Сквалыгу, о котором сказывал архимандриту.

– Здравствуй, отче! Узнал тебя по походке! – крикнул подьячий, подъезжая к пешему старику и останавливая коня.

– Прокоп Данилыч! Спаси тя Христос! О двуконь едешь! Отколь сие?

– Вечер служка монастырский заходил к боярыне нашей толстозадой с просвиркою, так повелела она мне утрева проводить его на конях, ну, яз и проводил. Теперь домой вертаюсь. Садись, Мартыне, – доедем вместе, куда те надо!

– Добре! – согласился монах, взбираясь на седло. – Тут корчма недалече – заедем, по ковшу пенника проглотим во славу Божию.

– В корчму? А коней ты себе в пазуху, что ли, положишь? На улке их здесь беспрременно сведут.

– Да заходить и не будем – целовальник нам вынесет.

Они подъехали к кабаку, выпили, не слезая с коней, по чарке сивухи, затем спустились к Москве-реке и продолжали путь пустынной дорогою по льду.

Было не холодно; окружающая тишина и выпитая водка располагали к беседе.

– Ты всё там же, друже, – начал Сквалыга, – у Романовых? Каково живёши?

– День да ночь – сутки прочь! Не печалуюсь – перепадает кроха и в мои потроха! Боярин наш в большой чести ныне у царя, Годунов же Борис Фёдорыч первым другом его называет. Разбогатели мы!

– Одначе не на Москве, а – слух шёл – во Пскове перва друга-то ныне держат! Опять туда поедет?

– Поедет вскорости.

– Почто же тако? Ужели здесь нет места боярину?

– На то указ есть царский. Почём яз ведаю! Дивлюся вопрошанью твоему.

– Может, слышал ненароком – что за причина?

– Нет, отче, того не знаю: человеки мы малые – боярских блох не лавливали.

– Ты прежде речистее был, Прокоп Данилыч! Верил мне и знал, что Мартынка свято тайну хранит и едина слова во всю жизнь не выдал. Буди, друже, и здесь без сумнения! А не та ль причина, что царь наш недужит и, бают, может вскорости отойти, идеже несть печали и въздыханья, опосля же его кончины будут выбирать в цари боярина Годунова, твой же хозяин-то будто бы препоною к тому стоит?

– Не ведаю, отче, може, и так. Да токмо кака умная башка такие речи на дороге ведёт? – Он оглянулся во все стороны.

– Зря сердцаешь, Прокопе! Души единой кругом нетути – река широка, и лучше места не промыслишь. Думаю же аз, грешный, что по смерти государя Фёдора Ивановича наследником ему должен стать Романов старший – близкий бо сродственник царя по матери.

– Може, и так. То дела великие, разума не нашего. А по какой стати вопрошаешь? Чтобы звонить потом везде? И како сам ты знаешь о сём?

– Знаю, друже, о многом – по миру шатаючись, всего наслышался, да токмо не звоню, а про себя таю. Замыслов же лихих не держу и тя возлюбил издавна. Меня не бойся!

– Издалече бредёшь ныне?

– Со степи украйной, батюшка, из Белграда, с монастыря Ефимьевска.

– Ну, что ж наглядел там? Каково зябнут людишки?

– Монаси добре живут, жиру накопили изрядно, а протчие животишки – худо, не лучше здешнего. Да беглых отсель в тех краях много стало, – тесно стало, и тяготы пошли великие.

– Бегут давно с деревень наших, из царства вон сигают, как лягушки из сухого болота. Покойный тятка мне сказывал, что пошло сие с той поры, как царь Иван Новгород воевал, и будто бы опришнина в том повинна.

– Опришнину аз тож помню – она бояр гноила, вотчины имала, служимым людям отдавала по царёву сказу. Княжат царь Иван изводил, да, одначе, не всех вывел – оставил. Простому же народу у тех князей лучше жилося, чем у нынешних дворянишков мелких. Допреж полсотни деревень за единым боярином были, и он собирал с них сколь нужно себе в прокорм, и челяди своей, и царю в подать. А ныне те деревни и дворы розданы во многи руци служилые, дворянские, и стало у мужиков тех на место едина владыки – сотня новых господарчиков, и каждый по жадности своей прежня князя перекроет. И тянут они жилы последние со смердов своих с неумолимостью до пота кровавого. Ну, и бежит народ куда очи глядят!

– Прежде легко было выходить от боярина – Юрьев день был, а ныне нет его.

– И ныне он остался, да токмо выхода боле нет, всё равно что в кабалу навечно заковали. Да и поборы велики стали, неслыханны! Стон стоит по избам! Как походишь везде по дорогам да поночуешь у мужиков православных, речей ихних послушаешь – диву даёшься, како ещё жив народ наш! Многая, многая видехом за очами своими! А всё за грехи наши Господь бедствия посылает и знаменья разные для вразумленья нашего даёт. Вот во Рязань-граде – проходил аз тамо по осени – жёнка Протопопова родила младенца с зубами, и он как родился, так тот же час и закричал по-петушиному: «Ку-ка-реку». Гоже, что на другой день помре. Спаси нас, Господи! И в Коломне видение было перед всем народом. На Филиппов день стоял аз у них. Во время молебна в соборе ихнем – Спас-Вознесенья – потемнел святой лику чудотворной иконы Одигитрии Пречистой, и не стало видно сего лика совсем, а чёрное место тамо, где бысть образ ненаглядный. Народ в страхе велии со слезами моляше Пречистую, да видно, не угодны Господу молитвы града сего – не вернулся пресветлый лик! Сие же оттого, что вельми греховны люди стали: вином упиваются, непотребством грешат и зело теснят меньшую братию. Нищих тамо! Почитай, и нигде столько не видел!

– Сего добра и на Москве хоть отбавляй. Пьянствуют тож лихо, и сивухи здесь сколь захочешь! У нашего боярина ныне два кабака на торгу – целовальники доход дают изрядный.

– Завтра свадьба у Петра Трясогуза, что на тычке лавку держит – у Николы на Курьих Ножах. Буду там и пивка попью вволюшку – пречудесное у него пиво! Сына женит на палачьей дочке из Лужниковой слободы. Похабный будет пир, и уж не токмо протопопа, а и дьякона Кирилки там не будет!

– Почто ж купец роднится столь зазорно?

– Сгорел он прошлу зиму – торговля в разлад пришла, и теперь того и жди, что на праже долги платить заставят. У палача же много добра прикоплено: золото, серебро за дочкой даёт, выручает. Ну, и берут невесту без разбору. Из хороших гостей никто на такую свадьбу не пожалует, одна мразь смердовская жрать прибежит.

– И ты с нею!

– Мне, брате, всё едино, купец ли, палач ли сидит рядом, – все мы рабы Господни, и ни к кому небреженья нет, лишь бы чара добрая стояла. Вот намедни на похоронах у князь

Юрия, у Ивановича, знатно мы выпили – помяни его, Господи, во Царствии Своём, – пирогом с рыбою прикусили.

– У Мстиславского, что ли? Ты и там бываешь?

– Бываю, друже, везде бываю – и в простых дворах, и в боярских, и в купеческих. А со Страстной седмицы думаю веригу на себя наложить – тогда хоть в царские палаты заходи: везде хлебсоль готовы! И слышу аз многое и знаю такое, что иным, протчим, не ведомо. Егда же в монастырь загляну, так меня всяк настоятель принимает да угощает, а потом тихомолком и вопрошает. Памятую же аз вельми долго и гласы чловечьи, и речи ихни, вот токмо о временах забывчив стал к старости.

– Ну и что же ты в князем доме том проведаль? Каки тайны тебе бояре открывали? – спросил подьячий не без усмешки.

– Князья ничего же нам скажут, а вот челядь ихняя, людишки дворовые, что всю хозяйску жизнь насквозь видят, немало рассказывают. Серед них же встречаются иной раз и таковы, что не токмо хозяйски, а и государски дела разумеют, вроде вот тебя, к примеру, да не все они, як ты, друже, язычок на цепи держат, а перед Мартыном душу облегчают И твоя издѣвка смешливая ни к чему, Прокоп Данилыч. Да аз не обижаюсь, прощаю ти по кротости моей смиренной.

– Хороша кротость! Весь народ за пьянство укоряешь, а сам токмо и помышляешь о винной чарке!

– Из грешных – первый есмь аз! Да ведь без греха не покаешься, а нераскаянному – несть спасения! Недавно на духу был – очистился, а как веригу надену, то и все грехи покрою.

– Все вы, «божьи люди», таковы! Забулдыги!

– Ну нет. Аз не из плохих иноков, есть и того худче! Вот в этой самой обители Симоновой, отколь днесь едем мы, нашли дьякона на сеновале под шубою с девкой молодою. Так отец келарь приказал сечь их розгою. В кровь иссекли дьякона при братии, а егда девку стали класть, так братью выслали, одни старцы остались, и аз с ними. Визжала она столь ражко, что не вынес келарь и велел отпустить. А зады у ней таковы гладкие, с румянцем, да пышные, як подушки пуховые!.. Ух!

– Досмотрел, святой чловеце!

– Грехи, грехи наши, батюшка!

Так, беседа, приятели неторопливым шагом проехали рекою половину дороги, изредка встречая крестьян, возвращавшихся из города. За поворотом реки они ещё издали заметили на снегу возле колеи какое-то темное пятно, а когда подъехали ближе, то увидели лежащего голого человека с перерезанным горлом.

В полуоткрытом, окровавленном его рту были видны зубы, рыжие волосы слиплись, обострившийся нос с горбинкой выделялся на молодом лице, всё тело уже заиндевело и слегка запорошилось снегом.

Они остановились, разглядывая несчастную жертву грабежа.

– Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего! – сказал монах, снимая шапку и крестясь. – Не дале как сей ночью кончили беднягу. А чуешь ли, Прокопе, на кого походит юнец сей?

– Не знаю, друже, впервые вижу.

– На отроча того, что, помнишь, видал аз на дворе вашем года три тому назад. Забыл уж, как звать-то! Не он ли се?

– Нет, отче, то не он.

– А почему нет? Вглядися, милый: власы те же, и нос весьма сходственный; се – он!

– Нет, Мартыне, сказал тебе, что не он, – доподлинно знаю яз, что говорю, верь мне.

– Коли знаешь, так особь статья. Едем дале. А что же ты ведаешь? Тот отрок и ныне у вас живет?

– Нету его у нас, а где он – не ведаю.

– Не ври, друже, не бери греха на душу: кабы не ведал, не упорствовал бы перед покойником, а признал бы да поднял бы – похоронить ведь надо. Расскажи ты мне по душе обо всём, и аз тебе некую тайну открою. Вспоминаю, что отрок тот похож был на царевича Дмитрея, токмо нравом потише был. Где он ныне? Жив ли?

– Он жив, а где находится – безвестно мне.

– А почто боярин Романов держал его в ту пору? И чего ради днесь его нету?

– Яз немало открыл тебе, Мартын, сказавши, что малец тот жив и здрав. Про остатнее же зря любопытствуешь ты. Не спрашивай, а поведай лучше, как обещал, про тайну боярскую.

– Изволь, родной мой. Коль ты молчишь, так яз глаголать буду. Баят же там вот что – во всех дворах, куда ни заходил, и в монастырях тож, – будто зарезали царевича углицкого, малютку Дмитрея, по приказу боярина Годунова, потому как был он наследник царствия на Москве.

– То давно слышали и забыть успели. Прошлогодней ягодой потчуешь!

– Постой, милый. Глаголют ещё, что Годунов царское место себе уготовал и патриарх его на то благословит.

– Тож известно всякому попу базарному аль целовальнику в кабаке.

– Ты всё ведаешь, Прокоп Данилыч, хоть и любишь несмыслёнышем прикинуться. Ничем ты не удивишь! А знаешь ли, что Годунов не люб большим боярам? И может оттого свара и грызня лютая учиниться промеж бояр, когда учнут царя ставити, даже до кроволития! Разведал же аз о сём на похоронах у князя Юрия. Но никакой грызни не было бы, ежели бы царевич Дмитрий не помре: сел бы он царём после брата своего, и всё было бы тихо и благолепно.

– А ты, отче, подлинно его убита видел? Не ошибся ли?

– Того не мыслю. И не пойму, что разумеешь ты, Прокопе...

– Вот сейчас ты мертва тела не распознал, за иного принял, так, может, и тогда недоглядел?

– Зришь ли, друже, в мёртвом теле завсегда ошибка может стать, потому – неживой он, видимость его сменилась: и очи не смотрят, уста не те, и смерть руку наложила. Но не аз един царевича во гробе видел – мать его родная тут была, и дяди, и челядинцы. Все горевали, и никогда мне в душу сумнение не приходило.

– Не приходило?

– Вот те крест – николи во всё время! Ныне же, як вспоминаю отроча того, что у Романова жил, не знаю, что и думать: смутил ты душу мою! Помоги мне, Пречистая! А сам ты – како отрока того чтишь?

– Никак не чту, Мартыне! И бросим нелепый разговор сей! Скажи лучше, долго ли на Москве пробудешь?

– Так он, говоришь ты, жив и здрав – малютка тот, что у тебя во дворе с собакой забавлялся? Тако... тако...

– Ты про что мыслишь?

– Ни про что, друже, не мыслю, а токмо скажу ти паки: кабы жив был Дмитрий царевич али бо воскрес из мертвых, – он сделал упор на последние слова, – то царь был бы законный.

– Говори прямо, Мартыне.

– Да уж чего прямее, чем видели! Молодец зарезанный, и сходство есть! Не чудно ли?

– Брось загадки! Не с дворовой девкой язык чешешь!

– А сам ты прямо глаголеши? Словечка прямого не изрёк со мною – не веришь мне! Тебе же аз поверил – не тот се отрок, что у тебя жил. А почто зарезали молодца? Думаешь, по разбою?

– Ничего яз не думаю, а как по-твоему?

– По моему умишку малому – потому и убили, что сходство имел с отроком тем... не припомню имя-то!.. Ты не забыл, как звали-то?

– Давно забыл, отче.

– Онемели уста твои, друже! Но Бог с тобою! Не сердчаю. Зайду к тебе на неделе, пивка испить боярского, а может, и медком яблочным угостишь – люблю сие! Тогда ещё истину поведаю тебе вельми любознательну. Теперь же треба на берег подыматься – Усть-Яуза здесь. Проводи ми, родной мой, до монастыря Ивановска – недалече тут, – и Бог тя благословит!

Четыре года прошло со времени описанных разговоров, и немалые перемены случились на Москве. Царь Фёдор умер бездетным, династия закончилась, избранный «освящённым» Земским собором Борис Фёдорович Годунов торжественно вступил на престол царей московских, раздавая милости направо и налево своим избирателям и приспешникам. Испытанный интриган и неплохой государственный кормчий, он опытной рукою вёл свой корабль, укрепляя приобретённую ещё до воцарения славу «правителя велемудрого», снискивая благодарность торговых гостей, обращая на себя внимание и за границей. Ничто не омрачало прекрасных первых годов его царствования; дела Бориса процветали.

Служилое дворянство обожало нового царя, архиереи воспевали, купцы везли подарки, иностранные короли слали к нему своих послов. Нашумевшее в своё время тёмное углицкое происшествие и погибший мальчик – соперник его по трону – никем не вспоминались, словно их никогда и не было. Мать царевича, заколовшегося (по официальному сообщению) случайно, играя с ножом, была обвинена в недосмотре за сыном и загнана в дальний северный монастырь; дяди его, искалеченные на пытке, сидели по тюрьмам и ссылкам, их друзья и свояки – по своим вотчинам и деревням. Не уничтоженные враги или попрятались в тихие углы, или же, восхваляя царя, умоляли о милосердии, старались всеми способами заслужить ласку царёву. Но умел Годунов различать своих недругов и под маскою преданности: он сурово карал, когда видел, что «друзья» если не сейчас, то в будущем могут так или иначе угрожать его могуществу. Он не мог забыть, что некоторые земские люди, приехавшие на «освященный собор», предлагали в дособорных совещаньях избрать в цари Фёдора Романова, и хотя этот боярин тут же и отказывался от этой чести, однако заявление этих людей было поддержано и другими. Конечно, положение Бориса от этого не поколебалось – сильна была его партия, – и на большом заседании собора во главе с патриархом он был избран единогласно, без всяких возражений. Но тут, на этих совещаньях, открыто и ясно выявилось, что есть на Москве боярский род, решающийся, опираясь на родство с покойным царем, вступить с Борисом в борьбу за престол. Годунов и раньше подозревал замыслы Романовых, своевременно услал Фёдора во Псков, а остальных держал в тени. Теперь же «лучший друг» (как до сего называл Борис Фёдора Никитича) и весь дом Романовых был очернён в глазах царя и превратился в прямого врага, тем более опасного, что много лет он скрывался под видом дружбы.

Однако, благодаря влиятельности этого дома в Москве, с ним всё же приходилось церемониться и считаться: его нельзя было истребить, как многих других – сразу же по разоблачении, – и надо было до времени потерпеть, подождать прямого повода к преследованию. От Романовых царь постоянно мог ждать всего самого злого и коварного, что только смогут измыслить хитрый разум их, зависть и крепкая воля. И, конечно, не складывал оружия в борьбе с крамольным домом, а, неустанно за ним наблюдая, искал случая придраться к чему-нибудь, обвинить в колдовстве и погубить. Понимали это и Романовы, держали себя тише воды, ниже травы, кланялись земно, со стуком явственным, льстили в глаза и заочно, распинались в самоуничтожении, вымаливая царских милостей и не получая их.

Фёдор Никитич, отозванный царем из Псковского воеводства, уже более года жил в Москве, не имея никакой государственной должности и постепенно теряя когда-то немалое своё влияние среди служилого дворянства и торговых людей. Беда неминуемая нависла над

его домом и заставляла принять меры: все крупные ценности исподволь вывозились со двора в надёжные места, уничтожена была переписка, заперты все входы в дом, зажжены во всех углах неугасимые лампы, обдуманы ответы на возможных допросах и т. п. Романовы теперь чаще прежнего ходили в церковь, давали денег на монастыри, сменили роскошные одежды на скромные, избегали гостей и редко бывали у кого-либо: боярский холодок – результат царской немилости – не располагал к посещениям. Но бывая ежедневно в кремле и высиживая там, в приёмных, положенные часы, обмениваясь словечком со служилой братией, прислушиваясь к разговорам, Фёдор Романов был всё-таки в курсе правительственной жизни, разных новостей и сплетен.

В больших, тёплых, устланных коврами и обставленных мягкими лавками дворцовых сенях, служивших преддверием к приёмным комнатам, в утренний час, до царского выхода, собиралось иной раз довольно много людей, ожидающих допущения к царю или к кому-либо из ближних его бояр. Негромкий говорок, молитвенный вздох, сдержанный смех всё время наполняли комнату, прерываясь на минуту с появлением стольника, вызывавшего того или другого во внутренние покои; тут всегда можно было услышать последние новости и вести отовсюду.

– Да, отче, – говорил высоким, слышным тенорком думный дьяк стоящему у окна протопопу Успенского собора, – слухов всяких немало у нас ходит. На всякий роток не накинешь платок! Наплевать! Вот, к примеру, каку нелепость вчера довелось слышать: будто где-то на Москве некий человек скрывается, похожий на покойного царевича Дмитрея углицкого, как едина кровь бывает. И ведаешь ли, кто говорил?..

Но тут он понизил голос, и Романов не мог расслышать.

Обернувшись, дьяк заметил Фёдора Никитича и, как показалось последнему, жутко взглянул на него, прекратив разговор, а протопоп затем прошёл мимо не поздоровавшись. Фёдор расстроился и хотел сейчас же пойти к Спасу на Бору (в двух шагах от царского крыльца), помолиться у мощей святителя Степана Пермского – целителя душевных недугов, как увидел подходившего к нему боярина Пушкина, недавно прибывшего из-за границы, и обрадовался ему. Нестарый ещё щеголь, известный своей книжностью, вольнодумством и балагурством, когда-то очень дружил с Романовым, но затем они несколько лет не виделись, и теперь Фёдору очень понравилось, что тот узнал его и первый к нему подошёл.

– Здрав буди, боярин! – сказал Пушкин, кланяясь с приветом.

– Вот то негаданно! Гаврила Иваныч! Вот утешил! – И они расцеловались.

– Ожидаешь здесь по докуке, Федор Никитич?

– Нет, просто я тут как всегда.

– Отъедем вместе – пора уж и расходиться. Да может, ко мне пожаловать не брезгнёшь? Хоть и не устроена ещё хоромина то моя. Рад буду – давно не виделись.

Беседуя о повседневности, они не торопясь доехали верхами до пушкинского дома на Ильинке, недалеко от Красной площади. В горницах его чувствовались некоторый беспорядок и суета – видимо, шла большая уборка.

– Видишь ли, – пояснил хозяин, – никак не кончат эту толкотню – нежданно яз приехал-то! Чистят, гладят, заново гадят! В своём доме укрыши не найду! Пойдём в моленную – туда не войдут.

В небольшой комнате – моленной – передний угол до половины обеих стен занимали старые иконы с многочисленными лампадами и покрытый чёрным бархатом аналой перед ними, а задний – красивая печка из цветных, узорчатых изразцов с лежанкою.

В сумрачном свете маленького слюдяного окошечка не сразу различались шкафчик с книгами, кресты по стенам – медные и деревянные резные, полочка с восковыми свечами и кадильницей, два жестких дубовых кресла с привязанными к ним подушками, пестрядины на полу и пуховый коврик для стояния на коленях.

Было душно, пахло ладаном и пылью.

– Се дедовское, – сказал Пушкин, – яз николи в свято место сие бывати не удосужусь. Туто нас не услышат, да токмо вина сюда требовать, говорят, негоже.

– Что ты, друже! Кто же будет вино пить пред ликами? Задержнуть бы их не худо, речей наших ради!

– Сего не мыслю, Фёдор Никитич: не богохульствовать будем, а о правде речь вести. Слышал я про дела твои – не знатно творится: бают, не любит он тебя, не прощает, но боится и терпит до часу. Берегчись надо. Да и у меня, смотри, не лучше: вот уж больше недели как приехал, хожу на верхушку, приема нет, толку не добьюся, зубоскалюсь с подьячими, челядью всякой, а глядят косо.

– Задобрить нужно. Аль забыл норовы наши: суха ложка рот дерёт!

– То верно, да люди там все новые, не знаешь, к кому подступиться.

– Ну, нам, тутошним, сие до конца известно. Дай дьяку посольскому Ильюшке Синее Ухо, мерзавцу хитрому, тридесять Рублёв да Ондрею Щелкалову, соседу твоему по вотчине, что на Пахре, рощицей малой поклонись, она ему дюже сходна будет – строиться там хочет, а лесу нет у него. Ещё Настасье – игуменье Вознесенской (сука тож злонравная!) – на монастырь дай пол ста и боле – сколь сама укажет: весьма близка она к царице Марье Григорьевне и многомочна стала теперь. Первее же всего Семёну Годунову покланяйся с почтением примерным, назови его вельможею великим, и расскажи ты ему, что слышал ныне в сенях царских, како дьяк думный Микита Голощёк попу успенскому рек, будто на Москве некий вор явился, похожий лицом на царевича Дмитрея...

– Как говоришь? Димитрия?

– Без сумнения буди, Гаврила Иванович, не подведу тебя! Яз ушами своими там сие слышал, до того, как ты, подошел ко мне, здравился. Протопопа же и дьяка, чаю, и сам ты приметил.

– У окна стояли? Видел. И сие они баяли?

– Так, друже. Дьяк сказывал тоже, и от кого знает про диво то, да не расслышал. Годунову же сие любо станет. И подачки Миките давать посему не след, ибо ежли козни чинить учнёт, то наветам его на тебя мало веры дадут.

– Спасибо, Фёдор Никитич, на добром совете – век должником твоим был и пребуду. А скажи ты мне, где сирота тот, что, помнишь, из Ярославля привезли, – сходственный с царевичем убитым? Записали его тогда словно бы сыном дворянина какого-то? Не Отрепьева ли?

– Его, имянно.

– Так не про того ли сходимца разговор ты слышал?

– Бог ведает, друже, – може, и про него. Яз не впервой таки вести слышу.

– Скрываешь от меня? Ты забыл, боярин, что яз первый тогда сию затею тебе изъяснил, ещё до углицкого дела, а ныне ты от меня таишься! Обижаешь не по вине. Мы здесь одни, и стены сей моленной нашей тайны не выдадут. Яз и домой устремился, дабы говорить с тобою про сего отрока, ибо во всяко время желаю весть о нём имети. Не спрашиваю тебя, на чьём дворе живёт он, чей хлеб ест, а знать хочу – надёжно ли закутан? И каки дела вы дале с ним сотворите?

– Не гневайся, государь мой, – молчаливы стали мы на Москве, но тебе, друже, верю и люблю тебя! Хоронится он в месте добре, да где ныне такое место на Руси, куда не сягнули бы очи Борисовы! Боюся, скоро не сможем оберегать его.

– А како взращён есть? Грамоту разумеет?

– Изрядно. И понятлив не по летам. Читит себя царевичем, но держит то в сердце своём, на людях же весьма сокрытен. Проживает в бедности и худобе. Теперь уже взрослый и на царя Ивана лицом походит.

– Почто же здесь его держите? И с друзьями верными совета о сём не ведёте? Разве одни вы, Романовы, подпору в сём отроке зрите, а не все мы, ненавистники Борисовы, и середь них яз – первый?

– Да, тебя тоже не забыли в обидах, и дядю твоего не обошли. Хоть и не крепко, а всё же толкнули охабнь подьячие. Совета твоего дружеска весьма хочу.

– Не крепко, говоришь? А как же крепче, коли дядя не знает, куда деваться от сраму и стыда после царского слова, как без вины честил его перед всеми, ослом вислоухим называл и на шубу ему плюнул! Отъехал тогда дядя на свою Подмосковную и с самого Покрова глаз сюда не кажет. Да и не мы одни в обиде. А Толмачевы? Сицкие князья? Репнины? И другие многие за что унижение несут? А за то, что не захотели тогда Бориса на престоле видети. Теперь токмо и жди – не ныне, так завтра – опалы вечной иль пагубы по холопскому доносу Землицу отымут и дьякам своим верным да дворянам бездомным в жалованье раздадут: псы алчные давно сей подачки ждут!

– Уж со многими так учинили!

– Оно и выгодно: на награду-то тратиться не надо, и от нас избавиться можно. Чует он, каки мы друзья ему, и глядит за нами зорко! Нам тоже укрепляться надо сколь можем. В таку пору царевич нам вельми нужен. Ты послушай меня, боярин: необходимо отправить молодца в Литву.

– Ну, теперь, когда ты откровенно всё изрек, раскрою и яз тебе свою душу, Гаврила Иванович. Сам хотел говорить с тобою о нём, потому и к тебе пошёл – просить помощи твоей в трудном деле сём: ты земли те ведаешь и путь укажешь. Верно ты сказал: на Москве оставлять его боле невозможно, про то и толковать нечего. Може, с собой его возьмёшь, коли опять поедешь? Токмо лучше бы не в Литву, а в Киев, на степь его отправить.

– Неизвестно мне, поеду ли и когда сие сбудется. Можа, год просижу в доме сём и боле. А почему его в Киев?

– Дружбу имею там старую и верную, да и ведомость оттоле получаю. Много там наших смердов скопилось – беглых, тягловых, чёрных, многие тысячи, а земли гожей не хватает на всех, и идёт пря великая за устроительство. Скюдости ради земельной не сидят тягловые на местах, а ножами на дорогах хлеб добывают. Разбой и неуряды идут повсеместно, родят смуту, властей трясение, и нет устою. Много народу хотят со степи домой вернуться, но боязно, да и ничего не получишь, коли вернешься. А вот ежели бы там появился царевич Дмитрей, законный государь, да кликнул бы их походом на Москву, то, гляди, смерды двинулись бы. Тысячами пошли бы за его именем, и рать могутную привёл бы он сюда, на смерть Борису. В Литве же такого нет, и рати оттоле не поведёшь. То истинно есть!

– Сугубо внимал тебе, боярин: об украинских людишках и смутах ты верно судишь. Да токмо в них-то самых и есть вся опасность: царевич там голытьбу подымет, нищету беглую, и рать его, пришед на Москву, учнёт здесь бояр бить, земли наши имать, и будет то последнее зло горше первого.

– Без рати надежной и православной ничего не добьёмся, родной мой, без силы оружной царевич – не царевич. Сколь грозный мятеж замышляем – надо смелым быти! Смердов же бояться нечего – изрядно ведаем мы их, и коли посулим атаманам годуновские да щелкаловские вотчины, так молиться за нас будут. Недоимки старые простим, кабалы снимем и протчее. Да и Дмитрей нас не выдаст, беспокойство твоё зряшнее.

– Сила ратная и в Литве найдётся.

– Не спорю о сём, но то сила латынская, супротив веры нашей пойдёт – народ её не приемлет, да и король польский не даром войско пошлёт – лучшие грады имать станет и Москву полонить захочет. И та беда воистину будет нам худче иной всякой. Ты всё о ратном деле да об оружьи говоришь, государь мой, а не думаешь, как без того пройти. В Польше можно огласку царевичу на весь христианский мир учинить, а сие уже полдела. Поведется, что и без степи

со врагом справимся: свои грады и посады выступят за Дмитрием, потому недовольных там много. Украинское же войско холопское может собираться в подмогу без помехи, и на крайний худой конец царевичу отъехать в степь всегда досуг останется. Коли же творить вся сия с разумением, то гоже ли помощь короля небрежити? Да и легче будет в Польше ему самому усесться и скрываться до времени, нежели на Украине. Яз тоже радеть буду, ежели поеду. В степи же ныне таково хлюпка, что может он пропасть там от всякого лиха без призору.

– О сём яз поразмыслию, ибо потерять его не желаю. Спокою и надёжи на Литве, вестимо, боле. Поговорим о том ещё разок на досуге, теперь уходить домой надо – пора мне. Спасибо тебе, Гаврила Иванович, за совет, за ласку. Друзьями были и пребудем! Ох! чуть не забыл, стареет голова: берегись ты, дорогой мой, Плещеева боярина, Михаила Маркыча, не друг он тебе. Доносец на него след бы измыслить Щелкалову.

– Тебе боле того спасибо, Фёдор Никитич. Рад твоей дружбе и верен тебе был и буду без шаткости. А зачем сам ты на Литву не отъедешь? Непрочно здесь тебе, чаю, и сам видишь!

– Не могу: на кого брошу жену, чада, братьев моих? С собою всех не увезёшь! Погибнут без меня от руки его. Сам же яз не чую беды неизбывной. Ежели не откроют связи моей с Отрепьевым, то, може, выкручусь, авось мимо пронесёт! Сохрани, Пречистая! – Он перекрестился.

Они расстались.

Через несколько дней, когда Фёдор Никитич вместе с женою поздно вечером копался в своём подвале, укладывая в последний сундук остатки своих драгоценностей, чтобы отправить их в ту же ночь к знакомому попу – стороннику Романовых, к нему без доклада вбежал какой-то чернец, бросился к его ногам и заплакал.

– Чур меня, чур! – в ужасе вскричала боярыня, не рассмотревши в свете коптящего огарка бывшего своего воспитанника – Юшу.

Да и трудно было узнать в стоящем на коленях молодом монахе мальчика, когда-то жившего под их кровом.

В скверной, заплатанной рясе и такой же скуфье, с грязной повязкой на щеке, закрывающей половину лица, с немывыми руками, в лаптях, он походил скорее на бродягу, какие нередко встречаются на базарах и в кабаках.

– Батюшка! – вопил он. – Отец родной! Смилуйся! Не губи души позря, напрасно! Умереть лучше, чем тако жити!

– Царевич! Бог с тобою! С нами Пречистая! Успокойся, сказывай! – заговорили супруги, усаживая юношу на лавку и вытирая лицо его шёлковым платочком.

– Да что же мы здесь, внизу? Идем наверх! – воскликнула жена.

– Не, – возразил Фёдор, – тут лучше. А ты, Оксинья, иди и скоро найди ему кафтан суконный, не светлый, сапожи, шапку да охабень сермяжный и протчее, сюда носи. Да мешок татарской кожи, что в ларе кладен, захвати.

По уходе боярыни монах сообщил, что всё время очень страдал от запрещения Фёдора Никитича приходить к нему в дом и чувствовал себя заброшенным. Встретиться же было непременно нужно и поговорить о том, что делать дальше, ибо такая жизнь ему опротивела. Горько жалуясь на судьбу, он рассказал, как переменял несколько монастырей, а также имён, как везде встречался с вопросом о своём происхождении и косыми взглядами настоятелей и как дошёл до того, что уже не только расспросы, а и простой интерес других монахов к его прошлому казался ему соглядатайским сыском и лишал покоя.

Он уже отчаялся увидеть снова своих благодетелей, хотел бежать куда глаза глядят и приготовил для сего вот эту самую одежду, только суму не успел достать. Да вот в последнем месте, в Чудовом монастыре, где он жил в особой келье и занимался в покоях отца игумена перепиской старых книг, злая оказия вышла. Нынче утрева встретил он на дворе старика Мартына Сквалыгу, целовал его.

Мартын же рек: «Хучь ты и вырос, а всё же похож на царевича!» «Бог ведает, на кого аз похож, отче, может, и на царевича, – не зрю сего», – ответил Юрий и убежал в келью. Незадолго же до вечерни, когда он писал книги, то слышал через дверку, как к настоятелю приходил дьяк из приказа и спрашивал, не в сей ли обители хоронится вор, рекущий облыжно о сходстве своём с покойным Дмитрием-царевичем; как отец игумен учал клясться, что нет у него такого инока, и звал дьяка во храм к вечерне, дабы показать ему всю братию и выдать, кого пожелает. Тут и в колокол ударили к службе Божьей, архимандрит и дьяк ушли в церковь, а он немедля бежал в свою келью, переделся скоро и вон из монастыря вышел. До ночи по улицам бродил, чтобы не заходить засветло в дом на Варварке.

– Забыл ты меня, боярин! И все вы бросили! Не зрю света очами, не ведаю, куда ходить. Нету сил моих боле! Не хочу быть царевичем, не вернуся к игумену никакому. Воля твоя, боярин, но чернецом боле не буду Простой яз человек отныне, и ежели не поможешь – иду, куда Господь укажет, токмо бо жить без тревоги и непрестанно о животе своём не дрожать!

– Не забыли тебя, царевич милый, неустанно мыслю о тебе. Не все монастыри-то ты назвал мне, где был, а яз тебе скажу и протчие, где спасался за годы те. – И Фёдор перечислил скитания Юрия, доказав, что следил за ним всё время. – Видим тебя, наш возлюбленный, воистину ты говоришь: времена пришли лихие, и надоба есть из монахов выйти и ехать чрез границу, на Литву.

Боярыня в это время принесла одежду.

– Надевай скорее, Дмитрий Иванович, и боле ты не чернец.

– Но како же туда поеду? В Литву!.. Столь далече! И таково всё нежданно!

– Про Литву всё обдуманно, родной наш, иного нет исхода. Яз и сам хотел тебя звать из Чудова посла завтра. Хорошо, что пришёл ко мне, и медлить теперь уж нельзя. На рассвете трогай, и с Богом, в добрый путь! А видали ль тебя люди, когда шёл в калитку?

– Не ведаю, да и опознать меня нелегко с повязкою. Ярыжка, одначе, шмыгнул словно бы в переулке.

– Доглядели, проклятые! Дело худо. Ночевать здесь не можно тебе, милый, пропадёшь вотще, боюся и помыслить! Ехать нужно сей же час. Оксинья! – засуетился он. – Прикажи там пару коней уготовить, да торопко! Возьми сие, государь мой, он передал ему кожаный мешочек с червонцами, и ныне же в Новоград-Северский к дьякону Лексею Онуче – верный человек. Прощка его знает и тебя проводит. Оттоле же чтобы Онуча тебя спешно в Литву отправил глухими дорогами – у него там есть свои люди. И мне чтоб весть подал записью через Прощку.

– Потрапезовал бы, царевич, чем Бог послал, – сказала жена. – Можно и не ходить наверх – сюда принесём.

– Не мешай, Ивановна! Поди о конях пещися, чтоб всё добре было, да упомни – к седлам малые мешковины приладить с пищею на один день. Недосужно, батюшка, ужинать здесь – время бежит, а до свету тебе пригоже за градом быть. Прощка! – подойдя к двери, ведущей в сени, крикнул хозяин. – Идь сюда! Слухай: вот тебе грамотка приказная – хранил яз при себе на лих случай. Воротами езжайте Яузскими – Петька Окунь там стражу держит со стрельцы: ему покажешь сию грамоту – он пропустит. Далекую пробирайтесь до Симонова – там через реку переправа есть, и в Гусятниках отдохнёте, коней покормите. Завтра отъехать вам на Чижи и на Калугу. Прощка! Друже! Молю тебя – храни царевича! Награду велию получишь!

– Готово всё, Фёдор Никитич, – сказала Оксинья, – и кони ждут.

– Ну, с Богом, государь Дмитрём Иванович! Не поминай лихом, прости грехи! Воссядем перед дорогою. Во имя Отца и Сына...

Он перекрестил Юрия, поцеловал его, проводил на двор и посадил на лошадь. Два конных путника выехали через заднюю калитку в переулок и скрылись в ночной темноте.

На рассвете в доме был произведён обыск, после которого Фёдора Никитича арестовали и отвезли в Кремль, а на другой день были схвачены и все остальные братья Романовы. Их обвинили в колдовстве.

Тёплой летней ночью на берегу Днепра расположился вокруг потухающего костра десяток казаков, возвращавшихся на острова – в Сечь.

Они запоздали переправиться засветло и теперь сидели и лежали возле своих коней и несложных доспехов, негромко разговаривали на ломаном языке о безобразиях, чинимых польскими панами украинским хлопцам.

– Тут на хуторе, по шляху, як мы проехали, – гуторил не торопясь хохол, – баяли – жида учера зарезали.

– А как?

– А так: пировали паничи, да поссорились полек с нашим, и ударил полек его плеткой, а наш хватил полека кулаком по чубу, с ног сбил, а сам-то утёк, так другие полеки шинкаря саблями порубили.

– Жида не жаль – всех бы их, дьяволов!

– Я знал того жида, – заметил человек в белой свитке и красных сапожках, – добре был жид. Зимой помог мне с Гаврилой, что утонул потом, от панов укрыться. Не любил их: дочку у него свезли.

– А всё же они поганые!

– Може, оттого и зарубили, что хлопцев укрывал!

– Жаднюги они, деньги копят, – отозвался немолодой бородач в богатом шёлковом кафтане с золотыми нашивками, рваных портах и лаптях. – Но дело не в них. Чёрт с ними! Дело в панах вельможных, владыках тутошних, что кровушку нашу пьют. Правду говорил батька Наливайко, что доколе в корне их не изведём, не дышать нам вольно. Кабы помогли в ту нору Наливайке, так ныне ни едина князь-пана не осталось бы!

– Я тож с ним ходил, – сказала белая свитка, – отметины вишь осталась – шрам на щеке. Добре повоевали, попили винца хозяйского, погуляли с дивчинами.

– Може, опять пойдём?

– Не! Батьки нет такого – иттить ныне не с кем!

– Были бы хлопцы, а батька найдётся, – сказал молодой москаль в городской одежде.

– Такого не сыщешь! За нашим же кошевым не пойдут.

– Да, кошевой у нас токмо и делает, что горилку жрёт.

– Расскажи-ка, дядя Степан, про Наливайку! – попросил москаль. – Не забыл ещё?

– Ох, мил-друг, вспоминаю я Наливайку! Нету с нами Наливайки!.. Конь под ним татарский был, рыжий, ни у кого такого не было! И сабля в золотых ножнах. Уж Киев взяли тогда и дале пошли, да тут его положили, и всё пропало! Бывалче, как сядет на конь перед войском, да как гаркнет на всё поле: «Умрём за веру!» – так, почитай, в самом Киеве слышно было.

– А вот мне так наплевать, и всё равно – та вера, эта! – сказал громадный молдаванин, поправляя лапотные обертки и завязки, – Дело это поповское, я ж из простых. Сабля добрая да конь – вот моя вера! Боле ничего не знаю и знать не хочу. Попадусь – повесят бесприменно, хучь молись, хучь нет.

– Польские ксендзы тоже наших бьют смертно.

– Немало туту крови пущено за веру, – вставил лежащий пожилой москаль, подымаясь на локоть, – не мене, чем на Москве, а смекаю – боле. И жизнь здесь не легче – одна слава, что воля, а коли хлеба нема, ножом промышляешь, – кака сия воля? Надоело! Двенадцать годов маюсь. Земли не добился, а что добился – отымали. Знатно бы теперь домой вертаться!

– Откуда ты?

– С Коломны, с Миколы Посошка монастырский хлебороб. Може, слыхивали – Микольский монастырь тамо? Да как вернёшься? Отец настоятель три шкуры спустит! Кол ему в брюхо! – И он непристойно выругался.

– Много вас здесь таких мотается!

– Да, не мало. Говаривал яз с ними, с людьми своими, – домой хотят дюже, да не идут, живут страха ради.

– А ежели бы, дядя, все вы, москали, поднялись да и пошли скопом? Гляди, не пужливо было бы, взяли бы своё!

– Думал о том, и други думали, да как собрать всех воедино? Велика земля сия, и людей многие тысячи – не стоворишься. Оттого и в Сечь пошёл – коня получил, жупан новый, и пища добрая. На руку ж яз крепок и в бою не последний.

– То ведаем, брате, не хвалися.

– Не хвалюсь, а правду баю. Надесь на берегу – отселе недалече – напали мы с Митькой на обоз жидовский о трёх ходах, с охраной польской. Так стражу ту начисто положили – яз сам троих взял, – потому не ждали они. Да ничего не добыли: кони-то ихни пальбы спужались, бросились со шляху прямо на обрыв, к реке и затонули с ходами, с клажей. Ну, мы и ляхов туда же скинули, а жида разбежались. Всё же единого яз стегнул плёткой по роже.

Так, сидя за кустами, в сотне шагов от большой дороги, проболтали они до рассвета и, когда утренний ветерок разогнал туман над рекою, приготовились к переправе, но неожиданно услышали крики.

– На конь! – скомандовал старший, вскакывая в седло.

Они быстро подъехали почти к самому шляху и наблюдали, оставаясь невидимыми за деревьями.

Приближалось несколько польских всадников – хорошо одетых барских холопов, возглавляемых толстым паном с развевающимися ржыми усами и петушиным пером на шляпе, очевидно дворецким.

Подстегивая нагайками, они гнали впереди себя связанных вместе мужчин, один из которых громко кричал при каждом ударе.

«Арбалет!» – тихо произнес командир, и казак, владевший этим оружием, тотчас же выстрелил по усатому пану, но попал в шею другому, ехавшему рядом с ним. С воплем повалился он, заливая кровью светлый кунтуш, производя смятение в кавалькаде. В тот же миг казаки с неистовым криком бросились на всадников и саблями рубили их. Тем временем упавший успел выхватить пистолет и выстрелить, повалив коня под одним казаком. Падая, казак этот помешал действию остальных, а холопы оправившись от первой растерянности и быстро заработали саблями. Крики, ржанье, выстрелы и лязг оружия заглушали команду и стоны раненых.

Но бой продолжался недолго – казаков было вдвое больше, кони под ними оказались менее пугливыми, да и сами они – более привычными к сраженью, чем польская челядь, часть которой, повернув коней, давно удрала без оглядки. Но не сдавался усатый дворецкий – он схватился с молодым москалём, спрашивавшим в ночном разговоре про Наливайку. Усач уже успел выбить коня из-под своего врага, уже замахнулся на него турецкой саблею, но тот с чрезвычайной ловкостью, несмотря на потерю опоры, увернулся от лезвия, проворно юркнул между лошадей и с другой стороны нанёс усатому удар палашом в левую руку, державшую поводья. Дворецкий тотчас же схватил правой рукой выпавший повод и, быстро повернув коня задом к противнику, поскакал по дороге. Вторичный удар москаля лишь слегка рассёк лошадиный круп, отчего конь понёсся ещё быстрее.

Казаки, отделавшиеся в этой схватке двумя ранеными и тремя конями, делили трофеи, ловили лошадей, обшаривали валяющихся в пыли поляков, забирая ценные вещи.

– Скорее! – кричал старшой. – С поклажей не копайся, развязывай пленных, пушай на волю.

Москаль получил другого коня с превосходным седлом, но, прежде чем успел сесть на него, очутился в объятиях одного из пленников.

– Батюшка! Юрий Богданович! Здрав буди! Вот-то не думано! Вот привёл Господь! – лепетал он.

– Прошка! Прокоп Данилыч! Ты ли? – воскликнул Юрий, обнимая знакомого. – Каким чудом?

– Воистину, батюшка, чудо чудное! Несказуемое! Очам своим не верится! Слава те, Пречистая! – Он снял шапку и перекрестился. – Ищу тебя, родной наш, с самой Пасхи, к тебе на Сечь пробирался, да собаки ляшские полонили позавчера в корчме, близко отсюда, зарезали там сидельца, а нас имали на продажу. Кабы не ты, быть бы мне на турецком базаре с рабами – торгуют православными, анафемы.

– Старшой! – крикнул Юрий. – Пленника сего берём с собою!

– Добре! Коней на всех хватит. Не мешкай, соколы, – погоня скоро будет.

– То не можно, друже Юрий, – сказал Прошка, – нужно говорить с тобою.

Они немного отстали от казаков, и тогда Прошка, подъехав на подаренном ему коне как можно ближе к Юрию, произнёс негромко:

– Боярин Пушкин послал искать тебя по всей проклятой земле сей и беспрременно вывезти повелел. Сказал мне: «Достань хучь со дна морского!» Дома же у нас дела совершились великие: благодетелей наших всех на Москве имали – и Фёдора Никитича, и Ивана с Александром, и челядь ихну. Яз тем и спасся, что в Калуге тогда с тобою был. Услышал же про беду уж в Новограде Северском и назад не поехал, а остался у дьякона Онучи, всю зиму работал, дай Бог ему здравия! Потом в монастыре боле года жил, Григорьем назывался, шатался тож всяко. На Масленой нашёл меня Онуча и послал во Краковград, к Пушкину, сей же боярин повелел тебя искать. И столь диво дивное ныне со мною приключилося – чудом Божиим из полона смертного вышел и тебя нашёл тут же! Верю в чудо сие, царевич, и помоги нам, Пречистая Владимирская наша богородица!

– Что ж, по-твоему, надо делать?

– Не мешкая, держать путь на Краков. Кони у нас знатные, деньги у меня в вороту зашиты – хватит.

– Не отставай! – крикнул им старший, когда казаки стали скрываться за спуском к реке.

– Поворачивай, государь, пока нет никого и казаки снизу не видят. Яз дороги тут малость ведаю – к обеде будем на мызе за Кислой урочью.

– А може, плюнуть на все дела московские? Вольготно здесь и хорошо с товарищами. Едем на Сечь!

– Что с тобой, батюшка? Вспомни Фёдора Никитича – в заточении пребывает неведомо где и муки люты терпит, тебя же душою любит. Неужели бросишь старца псам Борисовым в кормленье? А что в Сечи сей? Вольность да пьянство, и боле ничего не бысть, даже бабы и той нетути, а кака жизнь без бабы? Да и не долго попьанствуешь – скоро головушку оторвут, даром пропадешь. Сечь – се ради холопья ихнего, чёрного, разбойного, тебе же там не место. Предстоят тебе откровенья великие, и ныне сам узрел ты, государь, указанье Господне, ему же грех противиться. Постой-ка! Слышишь – за горой конский топот? Скорее! Погоня! – И он, схватив повод Юрьева коня, быстро повернул его вместе со своим конём, после чего оба пустились вскачь и скрылись за перелеском.

Часа два мчались они рысью, пока не достигли укромной мызы. Тут, почувствовав себя в безопасности, остановились у старого еврея, промышлявшего неизвестно чем и встретившего Прошку весьма приветливо. Обедали в прокопчённой хате, причём Прошка предусмотрительно запретил хозяину и его дочке отлучаться со двора; потом отдохнули немного и тро-

нулись дальше. Ехали теперь шагом, и тут Юрий рассказал своему спутнику вкратце свои скитанья за границей.

Побывал он и в монастырях и на рыбных ловлях, торговал с купцом на базаре и переписывал книги у протопопа. Познакомился с людьми новой веры – арианской – и пробрался в школу этой веры, находящуюся в Гоще. Там изучал науки и языки – латинский, польский – и полюбил веротерпимость ариан. Многому набрался он в этой школе, нашёл хороших товарищей и всегда с уважением вспоминал вельможного её покровителя князя Адама Вишневецкого, коего хотя и не видел, но знал о доброй помощи его православным и арианам. Из Гощи отъехал в Киев – хотел ещё учиться, да не удалось: вступился там однажды за товарища, обиженного сиятельным паном, и, получив от последнего пощёчину, ответил тем же. Пришлось спешно бежать обоим на Сечь. Всё лето с самого половодья жил в Запорожье с казаками, научился ездить на коне так, что хлопцы спрашивали – не из татар ли он, ибо лучше степного татарина никто конём не владеет. Это было самое красное время его жизни с тех пор, как помнит себя, и сейчас он жалеет, что пришлось с ним расстаться. Если бы не эта случайная и чудесная встреча с Прошкой, никогда не ушёл бы оттуда. Теперь же надо обдумать, как быть дальше, и, может быть, в Краков пока не езжати, остановиться в другом городе, скромно жить на Прошкины деньги и дать знать Пушкину о своём нахождении?

Он серьёзно размышлял над этим в течение нескольких дней дороги: ему не хотелось приехать к незнакомому боярину и встать в полную зависимость от него. Гораздо лучше было бы найти убежище самому где-нибудь не удалённо от столицы, у людей надёжных и не бедных.

Через неделю путешествия они случайно выехали к местечку Вишневец, где на высоком берегу речки Горыни красовался старинный величавый замок того самого князя Адама, который покровительствовал православным и гощинской школе. Это чрезвычайно обрадовало Юрия, и он, вместе с Прошкой, смело въехал через подъёмный мост в башенные ворота княжьего жилища. Они назвались вымышленными именами, причём Отрепьев взял то имя, что носил в Гоще, объяснили, что бегут из плена от днепровских панов, и попросили приюта.

На другой день Юрий встретил тут двоих друзей по арианской школе и с их помощью обратился к князю с просьбой оставить его у себя. Тому понравилась свободная польская речь крепкого молодца – гощинского ученика, интеллигентная внешность и почтительная, однако без всякого подбострастия, его поза. Он оставил юношу в числе своих слуг как охотничьего стремянного, не взяв в свою конюшню его коня.

Прошка, отдохнув трое суток и подкормившись в замке, попрощался с Юрием и отправился с двумя конями в Краков.

– Передай Пушкину, – сказал при этом Юрий, – что не ведаю, како дале творити. Пусть укажет; буду ждать здесь. Авось не прогонят!

На песчаных дорожках большого великолепного сада воеводы Мнишка в Самборе суетились многочисленные садовники с лейками, лопатами, ножницами и прочим, необходимым для поддержания в порядке роскошных цветочных клумб и всяких украшений. Был ранний час августовского утра, солнце только что показалось за рекою, и в бодрящей свежести блестящие росы держались ещё на траве и цветах.

Хозяйская дочка панна Марианна, встававшая с постели на заре и работавшая каждое утро вместе с садовниками у любимых кустиков, старательно подвязывала новый выводок испанских роз, собственноручно ею посаженных весной. Стройная, среднего роста брюнетка с правильным, матово-загорелым, слегка румяным лицом, мягким подбородком, римским носом и большими чарующими очами под соболиными бровями, она была настоящей польской красавицей, каких немного. В этот час она обычно появлялась в сравнительно простом платье, без дорогих цепочек, с неподкрашенным лицом, отчего оно, конечно, только выигрывало. Быстрым, но неторопливым жестом завязывала она узелки из новой, блестящей, как шёлк,

мочалы, грациозно нагибаясь почти к земле, чтобы поправить растение, непринужденно болтая при этом с почтительным главным садовником.

Окружающие любовались ею, и недаром среди них шёл каждый день спор о том, юму прислуживать у неё по утрам, кому подносить цветок и т. п. Велико было её обаяние – не трудно было увлечься ею до потери рассудка, – и не по несчастной случайности утонул этим летом в Днестре безнадежно влюбленный в неё молодец.

Но не давала балованная красавица повода к несбыточным надеждам, держалась с горделивым достоинством и была искренно огорчена гибелью своего слуги. Выросшая близко к природе, она любила лес, охоту, в которой понимала толк не хуже любого егеря, верховую езду, цветы.

Она сама кормила золотых рыбок в водоёме и ласково гладила по физиономии мраморного фавна, извергающего изо рта струю воды. Подбежав к фонтану и на этот раз вымыв руки, плеснув со смехом пригоршню воды в лицо фавну, она крепко вытерла пальчики поднесённым полотенцем; затем, приняв из рук одного из своих помощников, опустившегося на колени, пунцовую розу, дала поцеловать ему свою ручку, чуть кивнула остальным и направилась к беседке. Там в большой клетке сидела у неё недавно пойманная молодая рысь, и панна принялась кормить её живыми мышами. Краснокафтаный лакей вытаскивал рукою мышь из ловушки и пускал её в клетку рыси, та проворно ловила добычу, терзала её со злобным ворчанием, пачкая морду и лапы кровью. Девица так увлеклась своей хищной питомицей, что не заметила появившегося сзади неё нового человека.

– Доброго утра, панна Марианна!<sup>3</sup>

– Папа! – воскликнула она, поднимаясь и целуя его в щёку. – Так рано! Что случилось?

– Ничего, друг мой. Весь свет восторгается твоей красотой, и я пришёл сообщить тебе об этом. Как себя чувствуешь?

– Превосходно, как всегда, но почему пан так рано встал? Здоров ли?

– Вполне, панна, и жажду разговора с тобою.

Они вышли из беседки и отправились к пруду, где уборка цветов уже закончилась, и на небольшой площадке никого не было.

– Садись, дорогая, – сказал отец, – дело очень серьёзно. Я чуть не всю ночь думал о нём и наконец решился поговорить ещё раз. Ты, может быть, изменишь вчерашний твой ответ пану подскарбию?<sup>4</sup> Я его ещё не сообщал ему. Отказ твой убьёт его!

– Это я уже слышала вчера.

– Да не только его, но и меня, а стало быть, и тебя и всех нас.

– Я не знала, что это так сильно огорчает моего отца. Откровенно же говоря, и не совсем понимаю, в чём дело. Не всё ли равно – выйду ли я замуж за одного графа или за другого: приданое ведь будет одинаковое, почему же так беспокоиться?

– Не совсем так, Марианна! Пан подскарбий несметно богат и берёт тебя без приданого. Я не говорил тебе этого, теперь же открываю всё по совести.

– Без приданого? Так говорит мне пан отец?

– Да, и я согласился на это! Подожди, не гневишься, не блести глазами, выслушай...

– Это позор!

– Никто не узнает, позора не будет, мы...

– Я не согласна! Панна Мнишек не может остаться без приданого! Сие невероятно! Мой отец, видимо, заболел – у него голова...

– Постой! Выслушай! Минуту терпенья, моя ненаглядная! Я всё, всё объясню тебе без утайки: ты взрослая, умная, любишь меня и всё сама поймёшь. У нас нет иного выхода! Я почти

---

<sup>3</sup> Имя Марианна – взято с надписи на портрете, хранящемся в Историческом музее в Москве.

<sup>4</sup> Королевский казначей.

разорён долгами. Мы живём не по средствам: роскошной наших пиров – сама ты знаешь – нет во всей Польше. А у кого есть такие кони, как у меня? Такие ожерелья, как у тебя? Хрустали из Венеции, слоновые костяшки, ковры восточные для твоих комнат из Индии, да мало ли!.. Но за всё это надо платить, а денег нет, и вот жида скоро придут и заберут наши земли, бриллианты твоей матери и золото твоих дедов. Марианна! Это невозможно! Подумай об этом! И хочешь ли знать, кому я больше всех должен? Ему, пану подскарбию! И он не только не берёт приданого, но готов отказаться от долгов моих, вернуть векселя без оплаты, лишь бы увидеть у себя во дворце божественную Марианну! Так и выразился мне. Если бы это случилось – мы спасены! За тобой объявлено приданое, но где взять его, когда всё, что ты видишь, уже почти не наше!

– Да поможет нам Матерь Божья!

– Аминь! И спасенье в твоих руках, моя коханая. Жених твой влюблён до безумия, ты будешь царствовать над ним, всякое твоё желание, каприз будет исполняться, как повеление самого Господа Бога.

– Но пан отец забыл, что мне придётся не только царствовать, но и целовать пана подскарбия, а он седой старик. Мой милый отец, видимо, больше не любит, не щадит своей Марианны! Понять он не желает чувств дочери своей, ужаса и униженья моего! И всё это, оказывается, из-за денег! Боже!

– Унижения нет, дорогая! Напротив – все будут завидовать тебе. В чувствах же, ну, право, – поверь мне, – все мужчины одинаковые скоты, и не стоит размышлять об этом. Да и недолго ведь придётся терпеть тебе – умрёт он скоро и все богатства тебе оставит, тогда выбери любого шляхтича – все будут у ног твоих!

– Я не хочу его! И как, как поворачивается языку моего отца о бесприданности! Разве может он мириться с таким срамом!

– Успокойся, красавица моя! На бумаге всё будет прописано по-хорошему: он распишется в получении приданого при свидетелях, но не возьмёт его, и это соглашение останется между нами.

– А я поеду к мужу вот в этом платье, на его конях и без прислуги? Так, что ли?

– Ах, Марианна! Ты всё шутишь! Пятьдесят возов твоих платьев и мебели, служанок, зверьков и прочего поедут с тобою на моих конях, и одета ты будешь как королева – об этом не может быть и речи. Но железных сундуков с червонными золотыми там не будет, и мои леса останутся моими – кто же это увидит?

– Всё равно, отец, мне противно даже и говорить о таком женихе!

– Но почему же, коханая? Может быть, ты полюбила уже кого-нибудь из наших гостей?

– Нет, отец, я никого не люблю, не думала вовсе об этом, все мужчины мне равны, и я согласилась бы выйти за любого по выбору пана отца, если бы могла надеяться, что когда-нибудь полюблю его. А этот? Разве так можно? Не жестоко ли?.. Ну взгляните, пан, как хорошо жить на свете. – в саду, в лесу!.. Он же не улыбается, сидит, кряхтит, весь в морщинах, и плешь мокрая. Фи! Меня стошнит от поцелуя!

– Но мы погибаем! Вот ты радуешься сейчас весёлому утру, а твой отец рыдает! И ты не жалеешь его, не хочешь потерпеть самую малость, чтобы спасти нас! На такой пустяк ты не согласна, балованная девочка! Не стыдно ли?

– Продать меня хочет пан отец! Я и вчера чувствовала! – Она уронила слезу.

– Не о чем плакать, Марианна! И зачем такие слова? Разве я отказывал тебе когда-либо в чем-нибудь? Не лелеял тебя всю жизнь? И вот благодарность! Я мог бы и приказать тебе это сделать, не спрашивая согласия, но я прошу тебя, униженно прошу, не как отец – как последний хлопец, твой садовник, и на всё для тебя готов, только бы ты согласилась!

– Но разве нельзя достать денег взаймы у кого-нибудь? Вчера, я видела, приходил к вам один.

– Этот мошенник отказал наотрез, и я выгнал его в шею. Завтра вызываю моего старого кредитора и, сколь сие ни гадко, буду говорить с ним и просить его, но надежды мало – задолжал я ему большую сумму, и едва ли он даст ещё. Пойми же, неужели я, любящий тебя больше всех женихов твоих, решился бы на такой шаг без крайней нужды? Заклинаю тебя именем покойной матери твоей! Не раздумывай, соглашайся! И благословенье Божье будет с тобою.

Дочка смотрела на пруд, на лебедей, на далёкий островок с беседкою, вертела в руках розу и молчала.

– Я жду, панна Марианна!

– Я согласна, – наконец, сказала она тихо и с большой твердостью. – Согласна, но с условием, что не только целовать и ласкать этого мужа не буду и не назову коханным, а и прямо скажу ему до свадьбы, что выхожу за него против желанья моего, – он может делать со мною что захочет, но приветов не получит, И крепко слово моё!

– Марианна! Да ведь он не согласится на это! Ни в каком случае! Ты убиваешь своего отца!

– Я тоже мыслю, что граф не пожелает взять меня насильно. Потому-то пан отец и просил меня столь долго и усердно в час утренний. Пан угрожает разореньем от денежных затруднений, но я давно и много раз это слышала, да, однако, бедности пока не вижу и никого не боюсь. Если же и вправду долги на этот раз одолели, то это ещё не повод, чтобы Марианна Мнишовна осталась без приданого и, как последняя девка, продавалась знатному графу в уплату по вашим векселям! Можете отдать жидам ваши новые имения на Волыни и запоны свои алмазные – до того мне дела нет. Торговое же соглашение моего отца с паном подскарбием я не приемлю!

– Дочь моя! Тебя ли слышу? Где научилась ты речам таким? Ты говоришь, как пан Завадский, мой кредитор свирепый. И с кем же? С кем? С родным отцом! Какой удар на голову седую! Марианна! Подумай!.. Во имя...

– Идём, отец, отсюда. Я всё сказала и буду верна моим словам! – Она встала и пошла к замку.

Пан Мнишек знал, что дальше убеждать её бесполезно. Он нарочно встал сегодня чем свет с постели, чтобы застать её радостную в саду, в наилучшем расположении духа, а если уж она теперь отказала ему, то никакие мольбы в дальнейшем не помогут – она останется при своём.

В небольшом, сводчатом, обтянутом красной кожей покое богатейшего Самборского замка сидел в кресле тучный, обрюзглый, усатый шляхтич с полуседой лысой головою, а возле него стоял худой седобородый старик.

Был поздний вечер, занавески на окнах спущены, комната освещалась лишь канделябром в пять свечей, стоящим на драгоценном резном столике – рядом с кувшином венгерского – да огнём камина, у которого грелись собеседники. Самоцветные пуговицы на роскошном турецком халате сидевшего и бриллиантовые перстни на его пальцах особенно блистали в красном свете печных углей, подчёркивая контраст его костюма с чёрным еврейским лапсердаком стоявшего.

– В последний раз говорю вам, реби Моисей, – с некоторым раздраженьем молвил знатный толстяк, – что больше так не можно, что должны вы, по старой нашей дружбе, помочь мне. И если вы забыли эту дружбу, то пойдёт отныне вражда! Я не хочу доводить до этого, а потому прошу! – Он подчеркнул последнее слово. – Я, Юрий Мнишек, воевода сандомирский, староста львовский и прочая, прошу вас, реби! Понимаете ли вы это?.. Я умоляю вас, не разрывайте старого нашего союза! Неужели мало?! Да сядьте, реби Моисей, зачем же вам стоять?

– О ваша светлость! Вельможный пане! Я совсем, совсем не стою такой чести! Я только ваш слуга смиренный, всегда им был и буду до гроба. Но клянусь пану, светлейшему пану воеводе, – нет у меня сейчас пяти тысяч червонных злотых, и вскорости достать их не могу. Я

не требую, пане, старого долга, хотя десять тысяч злотых ждать и второй раз отсрочивать для бедного реби нелегко, я сам кредит теряю, но я терпелив, люблю вашу светлость всей душою. Денег же найти сейчас не в состоянии.

– Поезжай в Варшаву, в Краков, повторю, там дадут тебе денег.

– Не можно, пане, не дадут там, а потребуют уплаты того, что я занимал у них весной для вашей милости. Отпустите меня, ваша светлость, – кроме пятисот червонных, у меня ничего нет, и дать я не могу.

– Ну хоть придумай, собачья кровь, где взять их! Или как отсрочить мои платежи пану подскарбию и другим! Целый час с тобой без толку бьюсь. Найди выход! Вы хитрые, торгаши!

– Не умнее мы пана ясновельможного. И что может выдумать старая, седая, нездоровая голова бедного реби? Ничего, пане, она не выдумает – она давно разучилась выдумывать, не то что бывало прежде, когда я для вашей светлости всякие виды и планы составлял. Теперь – иное дело: трудно стало, пане, тяжело жить, повсюду терплю убытки, и Бог прогневался на меня!.. Вот разве возьмётся за одну тайну необыкновенную – может быть, и выгодно будет, если удачно выйдет, да только доверия к ней нет... А можно бы!..

– Рассказывай, старый черт, что за грязную историю ещё смастерил?

– Ничего грязного, ваша светлость, нет – всё чисто и благородно, сами это увидите. Недавно в Варшаве я был по делишкам своим и встретил там знакомого прежнего, москаля, боярина одного, напомнил ему о должочке и просил сжалиться над стариком – отдать, так он не отдал...

– Так тебе и надо – не давай денег москалям!

– Проценты пан москаль хорошие даёт, да и богатый он. Так вот, он сказал, будто бы, – Моисей оглянулся на двери, – будто бы у князя Адама Вишневецкого, среди его хлопцев, скрывается московский царевич Деметрий, наследник престола, бежавший от каких-то убийц. Под большим секретом открыл он мне это по дружбе и просил подождать долг до объявления этого принца народу – тогда, будто бы, денег много будет.

– Какая чепуха! Оказывается, тебя надуть не так уж трудно.

– Совсем легко, ваша светлость, да он говорил, что и доказательства есть. Не знаю я...

– В Москве сейчас сидит царь Борис из роду Годуновых, а Деметрий – сын Ивана – умер лет десять тому назад где-то в провинции... Мне тогда, помню, рассказывал про это князь Адам, бывший после сего в Москве и поссорившийся там с этим самым Борисом; даже до сегодня помнит он какую-то глупую его выходку. Но как эта ерунда может меня касаться? Зачем ты рассказал мне, как обманул тебя этот москаль?

– Не в том дело, пане, что меня обманули, – это вовсе, вовсе не важно: меня уже много раз обманывали – брали деньги, клялись платить и не платили. Бог с ними! Не в этом дело. А в том, что если этого принца примут наши преславные воеводы и сам пан Мнишек, то он может найти поддержку и в Речи Посполитой. И конечно получит немалые кредиты. Рискованно всё это, не спорю, но можно бы попробовать!..

– Ты хочешь, чтобы я поддерживал всякую уличную болтовню или сказки, какими отделяются от глупых жидов при долгах? – гневно крикнул хозяин, ударив серебряным кубком о стол. – Иль уж совсем забыл, с кем говоришь? Отвечай, собака, сколько заплатил тебе москаль за то, чтобы впутать меня в скверную историю?

– Простите, ваша светлость, – униженно заскулил банкир, опускаясь на колени, – помилуйте глупого старика!.. Никогда больше не заикнусь об этом. Реби Моисей ничего пока не получил, клянусь субботой, я хотел...

– Встань, дурак!

– Сохрани Бог вашу светлость! Реби желает только полезного для вашей милости. Помните, пане, какую прежде имели выгоду от моих советов: как получили тогда всю казну умершего короля, увезли всё его имущество, и покойника даже хоронить не в чем было! А каких

гадалок и любовниц доставляли мы его величеству во время болезни и какие земли получил пан воевода за это!.. Да мало ли! И реби Моисей старался тогда изо всех сил для пана, и теперь...

– Не даром ведь старался-то!

– Даром ничего не бывает, пане. За труды мои получил я кое-что и теперь для вашей светлости стараюсь!

– Кто такой этот москаль и где живёт?

– Живет в Кракове, имеет доступ ко двору, иногда наезжает в Варшаву – денег у меня берет. Это знатный, очень знатный боярин из Москвы, по фамилии – Пушкин.

– По-польски беседует или нет?

– Да, пане, по-польски и по-латински – это дворянин весьма учёный.

– Он, я полагаю, желает со мною видеться?

– Так, ваша светлость, но можно обойтись и без этого – от имени пана Мнишка буду говорить с ним я.

– Это невозможно, реби. Не такое дело тут. Королевское дело! И надо сообразить.

Отхлебнув из кубка, воевода крепко задумался. Старый интриган и выжига, он уже понял, что если знатный москаль сказал ростовщику о пребывании в Польше русского принца, то это вовсе не в порыве откровенности, а если реби отнёсся серьёзно к такому рассказу, то, разумеется, не по наивности, а потому, что почуял тут барыши, и немалые! Боярин, конечно, хочет втянуть его, воеводу сандомирского, в эту историю, а через него – князя Адама и другую польскую знать. Несомненно, что реби Моисей уже принял участие в предприятии, заинтересован в прибыли и теперь давит на него, Мнишка, не даёт денег, заставляя вмешаться в какую-то странную политическую авантюру. Положение же воеводы, хорошо известное Моисею, таково, что хоть в петлю лезь от долгов и угрожающих кредиторов, деньги нужны до зарезу, и взять их негде. Тут не только какого-то царевича, а и самого черта поддерживать будешь за сходную цену! Опасна она, эта интрига, и может кончиться для него позором, но ведь ему такой оборот не впервые: не забыто ещё, как его, Юрия, обозвали перед всем Сеймом мошенником, но, однако, ничего худшего из этого тогда не вышло, и ограбление покойного короля прошло безнаказанно.

Почему бы и ещё раз не попытать счастья? Деваться ведь в создавшемся безденежье всё равно некуда. Моисею же можно в этом случае доверять – не стал бы он болтать вздора, если бы не считал дела весьма выгодным: много тёмных дел проделали они совместно в прежние годы, и Мнишек привык ему верить. Если же сейчас отказаться, то Моисей найдёт других магнатов, а пан Юрий останется ни при чём. Надо будет дипломатически, осторожно поговорить с этим москалём и выведать всё подробно.

– Сведи меня с ним, реби, но тихо, без огласки.

– Понимаю, пане. Он сейчас в Варшаве, и я завтра туда нарочно еду и всё устрою на будущей неделе. Реби Моисей всегда был и будет вашим нижайшим слугою. А что, ваша светлость, – выходит ли панна Марианна замуж за пана подскарбия?

– Не твоё это дело, жид. И как ты смеешь спрашивать о панне Марианне?

– Як тому лишь, пане воевода, что она могла бы стать невестой этого принца, если бы...

– Что, невестой москаля-проходимца? Ты с ума спятил?

– Если он будет признан королём, то...

– Моя дочь не может быть женою иноверного схизматика, и ты не должен здесь болтать вздора.

– Да спасут силы небесные вельможного пана! Реби Моисей – слуга его покорный.

Он ушёл, но Юрий Мнишек не пропустил мимо ушей «вздорной» его болтовни, касающейся Марианны.

В назначенный день Гаврила Пушкин в костюме богатого голландца и под чужим именем был принят Мнишком в Самборском замке. Он прекрасно говорил по-польски, держал себя прилично, был вежлив, ничем не выделяясь из аристократического общества остальных гостей. К вечеру он был приглашён воеводой в особый покой, где застал иезуита – духовника хозяина – и князя Вишневецкого.

– Эта комната не годится для нас, – сказал им Мнишек, – тут пришлось бы сидеть с закрытыми окнами и опущенными занавесками. Я хотел лишь, чтобы святой отец и вы, князь, меня здесь подождали, а теперь идем дальше.

И он повёл всех по коридорам и крутым каменным лестницам на верхний этаж дома, в башню. Там в небольшой горнице были уже приготовлены стол, вино, фрукты, сласти, подсвечники, бумага, перья, чернила и прочее. В открытое окно вливались нежаркий вечерний воздух и аромат окружающих Самбор лесов.

Пушкин, представленный хозяином остальным двум в своём настоящем имени, прямо, без предисловий, заявил, что русский царевич Димитрий, спасшийся благодаря бдительности своих родных от годуновеких убийц (когда был зарезан и похоронен вместо него другой мальчик), находится сейчас в Польше. Он долго скрывался после этого случая у себя на родине в разных боярских домах и монастырях, но позже это стало опасным, и пришлось бежать за границу.

Здесь тоже необходимо было скрываться более двух лет под всякими именами и званиями, но теперь настала пора объявиться и попросить поддержки высоких панов в Речи Посполитой на правую борьбу с царём Борисом за отцовский престол. Если пан Мнишек и пан Вишневецкий пожелают помочь молодому принцу в деле чести, то он вскоре откроется тут, в Польше. Если же они откажут, то будет искать поддержки в других странах. Конечно, помощь эта будет для вельможных панов весьма выгодна, и он, Пушкин, готов обсудить с ними этот вопрос подробно во всякое время.

– Ну, а чем, смею спросить, подтверждаются речи пана Пушкина, а также и права сего таинственного принца? – спросил Вишневецкий.

– Доказательства? Извольте, Панове! У царевича есть при себе знатный золотой крест, полученный им от матери своей, царицы Марии, и принадлежавший ранее его отцу, а кроме того, я должен передать ему вот это. – Он достал из кармана небольшой сверток, в котором оказался кожаный футлярец, а в нём замечательный алмазный перстень розовой воды в золотой оправе с буквами. – Сия вещь принадлежала царю Ивану, получена была им в подарок от королевы аглицкой, изготовлена же в городе Амстердаме. Перстень этот хорошо знают аглицкие лорды да и другие люди. Подобного ему во всём мире нет.

– Я слыхал о нём, когда ещё молодым был в Лондоне, – сказал князь Адам, – и допускаю, что в числе подарков, посланных королевой московскому царю, он тоже был. Но ведь он находится сейчас не у принца, а у вас в руках, – какое же это доказательство?

Тут заговорил иезуит.

– Доказательство, князь, весьма высокое, – возразил он, – если только мы здесь условимся считать, что предъявил его не пан Пушкин, а Деметрий, и согласимся сделать объявление королю и шляхтичам в таком виде. Разговора же этого никто не слышит, и недаром наш добрый хозяин – пан Юрий – в башню нас завёл.

– Но, да простит мне ваша святость, это будет обманом перед королём и шляхтою да и грехом перед святой церковью.

– Нисколько, вельможный князь! – ответил ему москаль. – Подумайте, нельзя же было царевичу носить при себе такую ценность! В той жизни, какую он вёл и ведёт теперь, перстень давно был бы потерян им или украден у него, – он и сейчас не возьмёт его с собою, если не станет открываться народу: его будут хранить верные слуги принца Деметрия и вручат ему когда следует.

Для старика Вишневецкого такое объяснение было совершенно неубедительно, он почти не сомневался, что перстень выкраден из кладовых московского царя, но, вспомнив оскорбление и обиду, нанесенную ему Борисом Годуновым в Москве, молвил:

– Согласен с речью пана боярина и готов признать царевича, если увижу ещё и крест при нём. Как полагает святой отец?

– Ежели Деметрий примет апостольскую веру нашу, причастится святых тайн по нашему обряду и поклянется перед алтарём помогать распространению католичества в Московии, то от имени его эминенции – краковского нунция святейшего престола – я даю обещание поддерживать его перед королем.

– Ручаюсь вам, – заявил Пушкин, – что такие обещания будут даны царевичем, но, конечно, негласно. Сговориться с ним об этом, и думаю, ваше преподобие сможет при личном свидании, устроить которое считаю необходимым.

– Я считаю так же и постараюсь достигнуть сего свиданья наедине с принцем. Когда же всё случится так, как мы здесь говорили, – лично еду к нунцию и к королю, полагая дело сие справедливым и святой нашей церкви угодным.

– Я тоже так думаю, – сказал Мнишек, – но необходимо заручиться от него гарантиями денежных платежей.

– Об этом не беспокойтесь, пан воевода, успокоил его Пушкин, – всё будет в исправности, и вы своё получите.

– Мне сказали, – проговорил Вишневецкий, – что он живёт в моём родовом замке, но я его не знаю, да и не был я там два месяца. Теперь вернусь и хочу знать сего юношу Скажите, когда и как предполагаете вы произвести его объявление?

– Нам необходимо, – ответил монах, – позаботиться о создании подобающей обстановки сего открытия. – Этого нельзя делать простою явкой принца к князю Адаму, но я надеюсь, что паи Пушкин погостит у пана Мнишка ещё несколько дней, и мы сообща придумаем что-нибудь подходящее, после чего я с князем Адамом отправлюсь в Вишневец – давно там не был и с удовольствием побываю! Но, во всяком случае, мы должны хранить всё это дело в строжайшей тайне, вплоть до самого открытия. Никому ни слова! Дело это столь значительно, что не токмо король польский, но, полагаю, и сам святейший отец наш рассуждать о нём будет. Да помогут нам силы небесные!

Недели через две в замок князя Вишневецкого заглянул вечером конный, неплохо одетый путник, прося ночлега. Он был принят старшим по конюшне, отведён в горницу для приезжающих и, помыв руки, уселся за ужин. В это время туда вошёл стреманный.

– Здрав буди, Прощка! – сказал последний очень тихо. – Узрел тебя на дворе. Зачем пожаловал? Не ко мне ли?

– К тебе, батюшка! Спаси тебя угодники наши! От Пушкина с поклоном. Пока не вошёл никто, так скорее передать бы тебе посланье-то его. – Он достал из зашитого кармана свёрток. Там было письмо и футлярец с драгоценным перстнем. Юрий сейчас же стал читать бумагу и заметно взволновался, меняясь в лице.

– Тяжко пишет? – спросил приезжий.

– Ужасно! Хочет, чтоб я от веры отступился!

– От веры? Тако ли слышу, отец мой?

– Не на вовсе, а токмо перед ксендзом ихним, с глазу на глаз, обещание бы дал латынство принять. Тогда, пишет, паны будут ратовать за меня у короля.

– Сулить им можешь, друже, чего хочешь и чего они хотят, то без греха. Не посетуй, батюшка, на слове малом, – мыслю, без подмоги панской дела твоего не сотворить. Пушкин же тебе верен, и надо ему внимати.

В письме была инструкция о том, как держать себя при разговоре с иезуитами, как хранить перстень и что делать дальше.

Рекомендовалось после прочтения письмо немедленно уничтожить.

Утром Прошка уехал, а после обеда стремянный внезапно заболел и слёг в постель. На следующий день он не принимал пищи, тихо стонал – болезнь, видимо, ухудшалась – и скоро заявил товарищам, что желал бы исповедаться перед смертью. В замке не нашлось другого священника, кроме гостившего в то время иезуита, Мнишкова духовника, и последний отправился к больному. Более часа беседовал монах с охотником и вышел от него весьма возбужденный, немедленно явился к князю и в присутствии его свиты, а также Юрия Мнишка объявил, что больной стремянный не кто иной, как русский принц Деметрий, скрывающийся здесь от царя Бориса Годунова и других московских врагов. Он имеет при себе вещи царя московского Ивана – золотой крест и знаменитый перстень, подарок королевы Елизаветы, каковые регалии и просит после его смерти передать польскому королю, о чём сейчас и сказал ему, своему духовнику, на последней исповеди.

Всё пришло в движение в замке Вишневецкого: открытие моментально облетело сотни его жителей. Димитрия перенесли наверх, князь Адам лично распорядился его переселением и смотрел за удобствами, был приставлен к больному десяток слуг, врач, поп, созданы уют, теплота и покой. Выздоровление шло необычайно быстро, менее чем через неделю вполне здоровый Димитрий выехал с князем на большую охоту и в тот же день пировал на балу, показав себя недурным танцором.

Через полмесяца пьяных праздников он получил приглашение брата хозяина – князя Константина Вишневецкого – посетить его замок и там ещё раз отпраздновать свое объявление.



## Глава вторая Царевич



В середине великолепной снежной зимы вдруг наступила пасмурная оттепель с дождём, слякотью и бездорожьем. Шумные охоты владельцев Самборского замка прекратились, весёлые пикники, санные катанья, забавы на льду реки, на прудах уступили место не менее шумным обедам и вечерам внутри дворца. В освещенных сотнями свечей залах гремела музыка, провозглашались тосты, лилось вино, блистали наряды, драгоценные камни, носился аромат духов и курений. Панна Марианна тоже любила весь этот блеск, но в меру, в большой же дозе – ежедневно в течение недели – он надоедал ей: хотелось леса, снежной горки или хоть просто уединения. В такие минуты её тянуло к писанию писем. Случалось это довольно редко, когда больше ничего уже не хотелось делать, некуда было деваться, но зато панна отдавалась этому занятию не менее страстно, чем охоте, и способна была просидеть с пером несколько часов.

Сейчас она уселась за послание к своей сестре, пани Урсуле, супруге Константина Вишневецкого, и отвечала на полученное от неё с месяц тому назад письмо.

На дорогой индийской бумаге после жалоб на погоду описывались новые шубки на московских соболях и костюмы с нидерландскими кружевами, полученные из Кракова; говорилось о гибели двух любимых собак, задранных волками на последней охоте, о молодом князе Тадеуше, неотступно за ней ухаживающем, и о новом поваре, приглашённом её отцом по случаю приезда именитых гостей. Теперь у них подают за обедом очень вкусные пирожные и заливные орехи, изготовленные по-московски, да и вообще появилось много русских кушаний за столом – в честь принца Деметрия и его свиты. Отец и все гости в восторге от этого принца, особенно же святые отцы – служители Господа Иисуса.

«Но мне добрые друзья шепнули, – писала она, – что, может быть, он совсем и не принц, а подставной шляхтич из Киева или же еретик из Гоши, – достоверно никто будто бы не знает. Однако, смотря на него, я не могу этому поверить. Он держит себя, правда, несколько попроще, чем наши графы, но зато более искренно, весьма благородно и свободно; всё то, что ты, пани Урсула, мне о нём писала, не расходится с моим мнением, и даже больше того: я думаю, что он умён и образован. Вчера за ужином мы сидели вместе, и я слышала, как недалеко от нас пан Мазуркевич сказал английскому графу Лоусу что-то по латыни, а граф взглянул после сего на моего кавалера. Тогда Деметрий тоже сказал им латинские слова. Я потребовала объяснения, и сидевший по правую мою руку отец Бонифаций перевёл мне этот разговор. Мазуркевич сказал: «Он некрасив, да, кажется, и не умён», разумея при этом принца, а тот ответил, что с первым он согласен, второго тоже не оспаривает, ибо не судит о своём уме, но недостатки эти может искупить искренностью и доблестию. Мне так понравился его ответ, что я присоединилась к тосту за него, выпила свой бокал и позволила ему (на миг один!) положить свою руку на мою. Мазуркевич был до того смущён, что вышел вон. Не люблю этого хвастуна и скверного танцора. А принц танцует очень легко, но мало и почему-то почти всегда находится в окружении святых отцов. Я же веду себя с ним весьма достойно и холодно, хотя не могу сказать, чтобы он был

мне неприятен. Если бы Деметрий был польский шляхтич, я, может быть, допустила бы его к себе гораздо ближе, чем всех других. Отец Бонифаций сказал мне, что латинскую фразу он произнёс не так плохо, а недавно я слышала его разговор с князем Радзивиллом, которого ты считаешь ходячей учёностью. Говорили о новых книгах, виршах, сочинённых краковскими поэтами, и принц показал, что знаком с ними и даже знает стишок какого-то Петрарки поллатыни. В воскресенье, на святого Мартина, мы выезжали на волков, и я с панной Ядвигой заехали в Горелый лес, к Чёртову оврагу (помнишь это место?). Она шалила и, разогнав коня, отъехала довольно далеко от меня, а потом повернула назад и ехала шагом, а в это время позади неё из кустов выскочил волк; он мог бы броситься, и тогда конь от неожиданности свалил бы панну, но тут вдруг откуда-то появился принц Деметрий и поскакал прямо на волка. Он ударил его саблей и ранил. Панна Ядвига от страха едва не упала – он поддержал её, и она его благодарила. Я немножко пожалела тогда, что всё это случилось не со мною, а с ней. Он был так ловок и учтив, что, право же, показался мне красивым. Ты говоришь, что мужчины никогда не бывают красивыми, а только иногда кажутся нам такими, когда начинают нравиться. Ну так вот, он мне в тот час таким показался. Да только больше никаких чувств у меня к нему нет, и если бы он завтра уехал, тужить не стала бы.

Он ведет себя со мною очень скромно, как старый рыцарь, – мог бы и посвободней, если не гордится своим чином. Но однажды на катанье с горы, на Днестре, мои маленькие саночки соскочили с дорожки в сторону, и я упала в снег и едва не расшиблась о ветлу. Он помог мне подняться, руку мне пожал и так взглянул, что до сих пор помню. Я на минуту смутилась, не знала, как вести себя. Он подал руку и вывел на площадку, где были все. Тут только я почувствовала, что ушибла ногу и не могу ходить.

Пан отец стал весьма благосклонен ко мне, совсем забыл о моём отказе пану подскарбию и уже не только не попрекает, но и заискивает. А я – ведь ты знаешь – хитрая и ещё девчонкой научилась угадывать родительские помыслы, да и вообще в последний год научилась кой-чему в жизни. Я подозреваю, что он собирается сватать меня за принца, и я тогда не таю, что делать. Жених он не хуже других, а может быть, и лучше. Отец Бонифаций сказал, что в этом году он будет королём в Москве, и, значит, я могу быть там королевой, а по-ихнему – царицей. Да боюсь я этой Московии: говорят, там даже знатные вельможи едят суп с тараканами, и когда садятся обедать, то надевают лисьи шубы и шапки; на свадьбах же невесту порют плетьюми. Прошу мою милую пани Урсулу написать мне всё, что ей известно об этой дикой стране и что она думает о возможном сватовстве.

У нас сейчас наехало столько народа что, кажется, и размещать уже негде стало. Много благородных шляхтичей, на конях, с саблями, но немало и всякого сброду, которого нельзя не только на охоту или на бал пригласить, но даже и разговаривать-то неприлично. Они каждый день напиваются, скандалят и ругаются такими словами, что я не могу повторить их. Хорошо, что дальше нижних комнат и конюшен их не пускают. Отец частенько к ним бегаёт, утишает драки и, кажется, даёт денег. Вчера одного из них секли плётками, и я случайно слышала, как он визжал, – похоже было на свинью. Мне объяснили, что эти люди – воины Принца Деметрия и он поведёт их воевать Москву, но я думаю, что они сопьются по дороге и принц останется один.

Да будет благословенье Матери Божьей над дорогой пани Урсулой! Напишу ещё вскорости. Жду ответа. Обнимаю и целую!

*Марианна».*

Один раз вечером, после обильного ужина, полупьяный Мнишек явился в комнаты своей дочери и в высокопарных выражениях, но не вполне твердым языком объявил ей, что принц Деметрий просит её руки.

– Пан отец находится сейчас в таком виде, что я не могу принимать его слова всерьёз. Идите, пан, к себе на отдых!

– Как ты смеешь, своенравная девчонка, разговаривать с отцом такими словами! И сомневаться в моих речах! Ты совсем от рук отбилась. Я тебе говорю, что сделано официальное предложение, и ты должна отныне держать себя с ним как с женихом. И вот, вместо того, чтобы плясать от радости, ты облаяла меня, как холопа, и чуть не вон гонишь!

– Но меня же никто об этом не спрашивал! Ведь мы давно условились, что пан отец будет всегда советоваться со мною в таких делах. А если я не согласна?

– Не согласна? С чем ты опять не согласна? С предложением наследника московского престола? Не с ума ли ты сошла от счастья? Или в тебя вселился бес? Да я вовсе и не спрашиваю тебя о согласии! Кому оно нужно – согласие-то твоё? Дьяволу под хвост – больше ни на что оно не годится. Плевать мне на него! Если же будешь угрожать жалобами самому принцу, как тогда с паном подскарбием было, то я найду тебе понуждение! Я тебе покажу на этот раз отцовскую власть. Дрянь вероломная!.. Отступница! В башню! На хлеб и воду! С проклятием моим! На всю жизнь! И святая церковь наша одобрит это!

– Мой отец пьян! Пусть идет спать и даст мне покой. Поговорим завтра.

– Твой отец трезвее всех трезвых, а ты нахваталась вольнодумства от князя Тадеуша и считаешь, что можешь пререкаться со мною!.. Разговаривать завтра не о чем, всё кончено – ты невеста князя Деметрия, и я уже дал ему согласие. Размышлять тут тебе нечего – всё за тебя обдуманно и сделано для счастья твоего. – Он сердито поднялся, чтобы уходить.

– Но я же не дала ответа!

– Не желаешь? Разговариваешь?! В башню!.. Завтра же! На самый верх! Сиди!.. Ты у меня...

– Башня!.. Проклятие!.. Боже мой!

Она заплакала, но отец, не обратив на это внимания, махнул рукою и зашагал к выходу.

– Стойте, пан Мнишек. Слушайте. Вот последнее слово моё: я хочу, чтобы принц Деметрий лично у меня просил моей руки, а ежели сего не будет, то и невестою его Марианна тоже не будет. От сказанного не отступлю, хоть в подвал голую сажайте, ремнём стегайте!

– И буду драть, ты доведёшь до этого! Я тебе говорю, что дал уже согласие принцу, а ты теперь хочешь, чтобы я назад взял своё слово и просил его обратиться прямо к тебе самой! В таких дураках я никогда ещё не был и не буду! И довольно болтовни! Или ты будешь делать то, что велют, или у меня нет дочери Марианны! И тогда пусть дьяволы сожрут тебя заживо! – закончил он со злобою и вышел, хлопнув дверью.

Долго не спала в ту ночь панна Марианна, обдумывая и переживая случившееся. Она догадывалась, что как ни заинтересован отец в её браке с принцем, всё же он не позволил бы себе тако го обращения с ней, и грозить не стал бы: очевидно, чья-то рука энергично командует слабовольным и жадным стариком, побуждая к жестокости, внушая нелепые меры и, может быть, нарочно для сего напивая вином. И это не кто иной, как преподобные отцы иезуиты, – недаром он и о святой церкви в своих криках упомянул. Зачем им это нужно, она пока не знает, но видит ясно, что не уйти ей от судьбы своей и быть женою московского царевича, В башню её, конечно, не посадят, а если будет упрямиться, то спровадят куда-нибудь в глушь, в дальнее имение на Волыни. Случись такие кары по поводу отказа ее от старого подскарбия, она, не задумываясь, стойко приняла бы их на свою голову, но с Деметрием – другое дело: она против него лично ничего не имеет, а только страшится его родины, да может быть, там и не так плохо, как о том болтают, и царь сумеет создать ей подобающую обстановку жизни и круг друзей? Но было страшно обидно, что Деметрий не объяснился ей в любви, не стоял на коленях, как делали уже многие за последние два года, не назвал коханой, а как-то по-старинному обратился прямо к родителю! И не вяжется такой поступок с личностью царевича – сме-

лой и прямодушной, одобряющей взгляды нового времени. Уж не обман ли тут какой-нибудь? Каким образом он просил руки у пана отца? Непонятно... Но, может быть, по московским обычаям только так и полагается принцу просить руки? Иной способ считается неприличным? Необходимо как можно скорее проверить всё это, поговорить наедине с самим Деметрием и осторожно разузнать всё, что можно. От принятого же решения не отступать, и если он не даст ей уверения в своих чувствах – от брака отказаться.

«Он так же поступил бы на моём месте!» – мелькнуло у неё в голове, и она с некоторым удивлением поймала себя на том, что уже неоднократно сравнивала свои и его поступки, мысленно спрашивала его мнение о себе и считалась с этим мнением. Никогда и ни с кем из шляхтичей, даже с красавцем паном Тадеушем, этого у неё не случилось!

Вдумавшись, она поняла, что и отцу так резко возражала именно потому, что сухое, официальное предложение, сообщенное через Мнишка, без всякого любовного словечка, не только задело её девичье самолюбие, но и больно укололо куда-то в чувствительное место. Она должна завтра же непременно говорить с ним! Но не странно ли? – она, храбрая охотница, выдавшая возле себя пасть медведя, теперь как будто боится этого разговора с молодым человеком!

На другой день они случайно встретились в длинной проходной галерее и заговорили. В это время вошли туда же какие-то дамы, но увидя их вдвоём, тотчас же вышли и затворили дверь. Марианна поняла из этого, что их уже считают женихом и невестой. Надо было спешить, тем более что в этом неудобном месте Деметрий мог всякую минуту прервать свиданье, просить же его о продлении или о новом разговоре, может быть, по ходу дела и не удастся.

– Принц Деметрий! Могу я быть уверена в вашей дружбе?

– Не только в дружбе, пресветлая панна, но и во многом другом, гораздо большем!

– Вы – вежливый шлях... царевич, я это давно знаю, но сейчас говорю серьёзно.

– Здесь многие часто принимают искренние мои слова за вежливость. Но я не привык к придворному этикету и лукавству и хотел бы, чтобы панна Марианна верила мне.

Он говорил негромко, чуть застенчиво, не глядя на неё, и по всей его смущенной фигуре, по недоговорённым словам девица почувствовала, что отец вчера говорил правду. Но она хотела бы слышать ответ Деметрия и более определенно, а потому, сдерживая радость и не придумав ничего более тактичного, спросила прямо:

– Что же понимает принц под «гораздо большим»?

Прислонившись к косяку окна, в искусственно-небрежной позе, он тихо произнёс:

– Я просил руки пресветлой панны у пана Юрия... – И тут на мгновение взглянул ей в глаза.

Всё сразу поняла Марианна: перед ней стоял не изысканный граф, а простой юноша, не умеющий выразить своих чувств знатной красавице, робеющий перед нею. Чуть смутившись и задорно блеснув глазами, она продолжала с лёгким волнением:

– Но почему же к отцу?... А не ко мне?... Разве принц придерживается старины?

– Не знаю уж!.. – вымолвил он, не меняя ни позы, ни голоса. – Случайно вышло... давно хотел!

Ей уже нравилось это объяснение, забавляла его неловкость. Она спросила не без кокетства:

– И давно уже принц меня любит?

– О! С тех пор, как увидел! – воскликнул Димитрий, вдруг оживившись и не замечая её веселости. – И нет покоя!.. Одна ты! Всюду ты! Твои очи!.. Умоляю!.. – И в большом возбуждении, он, как школьник, упал сразу на оба колена.

Сияющая своей победой, едва сдерживая готовый хлынуть смех, она быстро сказала:

– Встаньте! Встаньте! Верю! Довольно!

– Марианна! Всё для Марианны!.. Клянусь!

– Не нужно клятв – верю я слову рыцаря! – И с серьёзной торжественностью громко закончила: – И вот рука моя царевичу Деметрию Московскому!

Он в восторге поцеловал протянутую ему руку.

Заговорили о свадьбе. Ему так хотелось кончить всё как можно скорее и затем вместе с супругой выступить на Москву, по Марианна, подумавши, сказала:

– Свадьбу я думаю, будем праздновать после представления принца королю. Мой друг, конечно, понимает моё положение – нельзя сочетаться браком с иностранным царевичем, не бывшим на приёме у его величества.

– Так скорее же к его величеству! Как можно скорее! Князь Адам пишет, что король желает меня видеть, и я немедленно еду в Краков!

Счастливый и бодрый, он раза два прошёлся по галерее, разглядывал портреты предков Марианны, какую-то старинную надпись на мраморной доске и, приложив к гладкому камню острый уголок своего алмазного перстня, начертал: «Demetrius et Marianna MDCIV».

Когда они выходили из галереи, то натолкнулись на стоящего с другой стороны двери, в коридоре, монаха-иезуита, видимо дежурившего здесь, и поняли, почему после тех дам больше никто в дверь не входил: святой отец, охраняя их уединение, не пропускал никого.

В тот же вечер у неё был духовник и, очень обрадованный её согласием на брак с Деметрием, долго говорил о предстоящей ей священной миссии.

Он предрекал ей всемирную славу на поприще духовного просвещения и обращения целой страны неверных москалей в лоно католической церкви; сравнивал это дело с проповедью Марии Магдалины и других святых и называл её избранницей промысла Божия.

– Много забот и, может быть, трудов нелегких предстоит воспринять пресветлой панне! Первые слёзы уже были пролиты ею вчера в связи со святым делом этим, но награда Господня сторицею покроет все её лишения, и венец неувядаемый ждёт её как в сей жизни, так и в будущей! Святейший отец наш благословит её с престола своего на величайший подвиг, а после смерти благодарная церковь причтёт равноапостольную царицу Марианну к лику святых. Но она должна будет строго следить за своим супругом – царём московским, дабы он не уклонился от католичества и ревностно переводил бы всех своих подданных в новую для них святую веру, всемерно помогая духовенству последней.

Уже более года, как боярин Гаврила Иваныч Пушкин снова проживал в Кракове. Вскоре после ареста Романовых он, чувствуя опасность, упросил первого сановника в Москве – Семёна Годунова – походатайствовать за него перед царём, чтобы разрешил уйти от всех дел и отъехать на вотчину. Получив это разрешение, он целый год прожил в своей деревне, занимаясь хозяйством, дожидаясь, когда в столице хоть немного забудется романовская история. Щедрые взятки помогли ему на следующую зиму вернуться в Москву, но скоро он увидел, что многие не рады этому возвращению, и если он вздумает искать хорошей службы, то ему будут вставлены палки в колёса. Особенно неприязненно встретили его в Посольском приказе, не без основания полагая, что он, знающий иностранные языки и побывавший за границей, может занять видное место в этом центре дипломатических сношений. А люди там сидели сильные, и воевать с ними Пушкину было невмочь – того и жди, что поднимут не совсем ещё заглохшее дело о дружбе его с Романовым, и тогда, может быть, и не отвертишься! Идя им навстречу в смысле избавления их от своей особы, он дал понять, что не отказался бы опять поехать за рубеж, если бы его за чем-нибудь туда послали. В приказе это понравилось, и по недолгом времени боярин получил второстепенное назначение в Польшу для приискания мастеров для обширного нового строительства, каковое задумал осуществить в Москве царь Борис, и вообще всяких нужных людей для царской службы. Приехав в Краков со средствами как своими, так и казёнными, он жил здесь не бедно, бывал в хороших кругах и время от времени посылал в Москву строителей, лекарей, художников и военных командиров, а также и кое-какие свои письменные сообщения.

Однажды к вечеру Гаврила Иваныч, составив и запечатав официальное донесение царю Борису о появлении в польской столице вора и самозванца, именующего себя царевичем Дмитрием, отправил с тем же гонцом отдельное письмецо своему дяде в Москву. После испрошения дядиного благословения, навеки нерушимого, упоминания о поклонах супруге и деткам – поименно, пожелания всяческого в делах преуспевания, а в немочах, при помощи Божией, исцеления и от козней врага человеков – дьявола – ангельского ограждения, племянник сообщал следующее:

«Ныне великому государю за печатью отписал, како здесь самозванец Дмитрий облыжно объявился, тебе же, благодетелю моему, досказую вся протчая о человеке сём, яко очевидец был вчера принятия того Дмитрея королём Жигимунтом. Был яз во дворце, на Вавеле, приёма у короля просил, но оного не получил и тогда говорил канцлеру Льву Сапеге, что в государстве Московском нет царевича Дмитрея, что князь сей помре дитей в 1591 году по ихнему счёту. А тот, кто появился тут, есть обманщик и вор, и яз заявляю ему перечу перед королём и шляхтою и прошу не принимать, но схватить изменника, забить в железа и царю Борису выдать. На это мне Лев Сапега отвечал, что доложит его величеству речи мои и что сам так же думает, а потом спросил меня с лукавством: «А кто сему вору способствовал и чьей милостью он в князи вышел?» Яз рек: «Не ведаю». Он же, строго-гневно взглянув на меня, молвил с угрозою: «А мы то ведаем и в своё время скажем!» И другой канцлер польский, граф Замойский, тож супротив Дмитрея идет, оба они советовали Жигимунту не принимать его и к руке не допускать. Не верят они самозванцу сему, не хотят втягивать Речь Посполиту в игру зловредную (по словесам их), а хотят держать добрый мир с Москвою. Да токмо король не их слушает, а попов латынских, иезуитов, а сии отцы вельми хотят Дмитрею успеха, ибо обещал он им свободу проповедати ересь свою на Москве. Король же в их руках обретается и ничего без них не творит. Дмитрея он принимал в палате малой, особой, со вельможи и чины, вопрошал о здравии с приветом и милостию знатною и (како слышал ввечеру) доволен весьма им остался; денежную подмогу нарядил и собирать войско по всей Польше дозволил. Дмитрий же держал себя с мудростию великою, на вопросы Жигимунта отвечал уменно, со знанием науки, с почтением к особе королевской, а равно же и своему достоинству без урону. То было вельми любо королю и нунцию папскому Рангони. Сей же кардинал-нунций принимал названного Дмитрея и у себя, окружил его попами и сам многожды с ним беседовал и тож в довольствие вступил от велеречивых словес его и обещал защиту у самого папы римского. Пуще же всех ратуют за него князья Вишневецкие да Юрий Мнишек – весьма богатые паны, и руку сильную имеют по всей земле тутошней. Великие обещания и посулы Дмитрий им даст и даже земли Северские и Смоленск сулит отдать в вотчину вельможам сим за подмогу. Да токмо гласно про то не объявляет, а отсель яз думаю, что обещанья те пусты и выполнять их не будут. Воевода Мнишек хочет дочь свою Марианну за самозванца выдать и царицей московскою учинить. Видел оную в Кракове – девица красоты пречудной и обаянной, помрачает умы у шляхтичей младых, и, сказывают, полюбилась она Дмитрею крепко. Да токмо свадьбу сейчас справлять не велят – король совет дал Мнишку: свадьбу чинить, когда Дмитрий на Москве царём сядет. Скоро он отсель отъедет в замок Самбор, там станет перед войском своим и на Москву пойдёт. В Кракове токмо и речей слышишь, что о новом царевиче. Верят ему много народу всякого и выгоды своей ждут. Умишком своим яз измышляю, что коли сия споспешна будет, то через полгода войско, иже помянул, встретится на русских весях с царём Борисом.

Ныне, Божие благословенье на тя призывая, земно кланяется тебе, отцу и благодетелю, племянник и холоп твой Гаврилка Пушкин».

После сего боярин на отдельной маленькой бумажке написал секретными чернилами: «Треба дать весть матери его – царице Марье Нагой в заточеньи ейном, что Дмитрий здесь объявился. И буде спрашивать её учнут о смерти его, так не говорила бы, что умер. Пошли к

ней ходока верного». Эту записочку он велел гонцу защитить так, чтобы ни при каких обысках её не нашли.

Димитрий остановился в Кракове вместе с Марианной и её отцом во дворце зятя последнего – богатого магната Фирлея, открывшего царевичу двери столичной знати и помогавшего устройству аудиенции у короля. Балы и празднества в этом огромном доме, особенно же после приёма принца у короля, превосходили по своему блеску всё дотоле виденное. Марианна сияла там красотой и нарядами, Димитрий – благородной осанкою, подтверждающей царскую кровь, непринужденной учтивостью и мягкостью в обращении. Пара эта привлекала внимание всех её видевших, и через несколько дней о ней заговорил весь город, причём Вишневецкие, Мнишек, Фирлей, нунций Рангони и – больше всех – отцы иезуиты способствовали всеми мерами популярности царевича. Необыкновенным почётом окружили здесь Димитрия, льстили его честолюбию, но в то же время и держали его нервы в непривычном, постоянном и нередко тягостном напряжении. Вследствие этого он решил ускорить свое возвращение в Самбор и там собирать снос войско: десятки молодых шляхтичей, ежедневно являвшихся в фирлеевский дворец и записывавшихся к нему на службу, отсылались по его распоряжению в замок воеводы Мнишка.

Боярин Пушкин, с которым царевич виделся теперь довольно часто на балах у вельмож, держался в стороне от него: избегал разговоров, не садился за один стол и т. п., но один раз по просьбе царевича встретился с ним в уединенном месте, чтобы рассказать ему о положении дел в Москве. Он сообщил Димитрию о последствиях ареста Романовых, что Фёдор Никитич пострижен в монахи и живёт в дальнем северном монастыре на Двине-реке под тяжёлым надзором; два брата уже умерли в ссылке, двое других – неизвестно где. Отправлены были в ссылку и ещё многие бояре: Шестуновы, князя Сицкие, Репнины и прочие, простого же народа погибло в Москве многие тысячи: царь Борис деятельно разыскивал вора, именованного царевичем Дмитрием, и царские пристава по первому доносу хватили кого попало как укрывателей или пособников самозванца, жестоко мучили, вымогая показанья, а потом, если несчастный оставался жив, ссылали на север. Ужасный страх перед вездесущим соглядатайством объял, по словам Пушкина, всю Москву, и люди там не уверены в завтрашнем дне своём, боятся говорить вслух о чем-либо, кроме самого насущно необходимого, при первом же слышании имени Дмитрия шарахаются в сторону И, однако, это имя гуляет по всему городу, но произносится шепотом, с глазу на глаз между знакомцами и связывается с надеждой великою. И чем больше хватают народу, чем опасней и худче живётся, тем больше чаяний возлагают люди на спасенного чудом углицкого царевича и верят ему бессумненно. Сообщил также боярин вкратце о голоде московском, о странной болезни царя Бориса, когда он по неделе не выходит к боярам и невпазд смеётся, о денежных затруднениях в Московском царстве и некоторых мелочах тамошней придворной жизни, но по недостатку времени ничего подробно не изложил, обещавшись повидаться ещё раз. Через несколько дней он сдержал своё обещание и при посредстве Фирлея опять устроил свиданье с Димитрием в удалённых комнатах дворца, имевших прямой выход на улицу. Явился теперь Гаврила Иваныч в сопровождении ещё одного знатного москвича и после обычных земных поклонов и здравий представил своего приятеля:

– Се Огарёв, Семён Петрович, – думный дворянин, сын Петра Басильича, что при батюшке твоём с Батуром воевал. Вчера с Москвы приехал. Вельми недоволен царём Борисом и жаждал очи твои, государь, видети.

Тот поклонился ещё раз.

– Садитесь, бояре, очень рад с друзьями здесь беседовать. Почто приехал, Семён Петрович?

– По указу Борисову – речь держать перед панамы и перед королем польским о тебе, государь мой. Писано в грамоте царской, что ты чернец-расстрига Гришка Отрепьев, и требует Борис, чтобы король выдал тебя головою.

– Сего и слухать не будут, – сказал Пушкин. – Яз недавно писал о сём в Москву, да, видно, разошлись гонцы в дорогах.

– Но какие же доказательства являет царь Борис в пользу своих слов? – спросил Димитрий.

– При мне, государь, никаких доказов нет, едина лишь подпись царская на бумаге той. Но в Москве ныне нашли некоего захудалого дворянина из рода Отрепьевых – дядю того Гришки, что в грамоте помянут, и хотят его сюда послати, дабы он, как увидит твою милость, так и обличил бы перед всеми, сказавши, что ты, мол, племянник мой, сын брата моего покойного, а не царя Ивана, а потому есть вор и самозванец. Отрепьева сего привезли в Москву из града какого-то – не помню уж, – да токмо отправить его затруднились: мужичонка он квёлый, немудрящий, двух слов сказать не умеет – где ему обличать! Да и вином зашибает. Приказано спешно его обучить, как нужно вести себя в Кракове и что говорить панам – не спутался бы, – взаперти сидит, обучается, и водки не дают. Мне же повелено, не дожидаячи, отъехать в Польшу. Яз мыслю, что привезут его недели через две аль три.

– Добре, боярин, спасибо за сказ. Так ты будешь здесь ожидать сего Отрепьева?

– Нет, государь, не буду. Может, по негодности его и вовсе не пошлют. Приказ имею доложить королю грамоту царскую и ответ получить, а тогда вертаться домой немедля и царю обо всем поведать.

– Ну, а что на Москве деется?

– Тяжко жити там, княже Дмитрей Иванович! Прогневался бог христианский на люди своя: один лих за другим идёт, одна беда другую ведёт! Глад невиданный – кара Божия за грехи годуновские – вконец зорит Москву! Недаром и звезда хвостатая на небе объявилась! Слышал ли, государь, как на наших улицах мертвецы гниют? Не успевают их хоронить! А в домах московских люди мышей едят, да и тех уж, говорят, не осталось. Два лета хлебушка не родилось, и вот беда – горе лютое! – то деется, что ни сказать, ни описать не можно! Тысячами люди мрут смертью голодной, а другие покойников сих в пищу приемлют, руки, ноги отсекают, печени выдирают. На базарах же вареным человеческим мясом торгуют. Коней, собак, скотину всю начисто давно поели, закрома царские опустошили, все поскребки вымели, боле взять нечего – подвозу хлебного совсем не стало. Народ бежит из столицы куда очи ведут, пуще же всего на полдень, к Дону, да на степь украинску. Многи деревни стоят впусе – души и единой в них нету, и даже волки забегают.

– Со степи же слышно, – вставил Пушкин, что там своим избытным хлопцам есть нечего – разбоем промышляют, а тут ещё наши, аки волна морская, нахлынули, и творится смятенье устрашающе! Того и жди, что подымутся всей громадою, Наливайку вспомнят и опять князей бить учнут.

– То нам будет в руку! А поведай, Семён Петрович, поминают ли меня в народе? И какво чтут?

– Царевич, батюшка! Токмо и надёжи у людишек наших, что на имя твоё святое! Сие всякий тебе скажет – хоть знатный, хоть простой, – спроси кого пожелаешь! И пора тебе, государь, в поход ходить, Бориса воевать. Весь народ русский ждёт того с упованием! О здравии твоём Богу молится. В церквах же по приказу Борисову по тебе, государь, панихиды поют, а Гришку Отрепьева анафемой клянут.

– Пусть себе поют! Нас от сего не убудет, а Бог правду нашу видит и нам помогает!

– Вот, вот! И на Москве то ж думают.

Поговорив ещё немного с Огарёвым и расспросив о новых арестах и казнях, о смерти симоновского архимандрита Геласия и прочем, Димитрий отпустил его, оставшись наедине с Пушкиным.

– Есть о чём покалякать с тобой, Гаврила Иванович, объяснил он, – да при новом человеке неудобно было.

– Добре сотворил, Дмитрёй Иванович, что не держал его, – у меня тоже есть некое, что токмо тебе единому сказать можно.

– Так слухай же, друже, Много яз посулов весьма больших полякам надавал – землями и деньгами, сулил, особливо же Мнишку и Вишневецким. Теперь ксендзы меня здесь одолели – тож обещанья всякие исторгают, причаститься по ихнему обряду заставили и ныне письмо от меня требуют за рукой моею к самому папе римскому.

– Обещаниев не бойся, царевич, ибо о том, как выполнять их, ты на Москве помыслишь и царской своей воли ими не связуешь. Причащение ихнее тож дело не вредное – хлеб у них добрый, мука пшеничная. А о чём письмо?

– О вере латынской: должен яз отписати, что считаю веру ту единою святою и буду проповедать её во стране своей, попов латынских призову, денег дам и церкви римские построю.

– Нелегкий документус сочинить тебе надлежит, дорогой царевич! Но уклоняться и бежать от него не должно. Тут испытанье на учёность твою: треба так написать, чтобы и папа удовольствие получил, и себя сей грамотой не сковать (ежли потом казать её учнут), и чтобы царский глас в ней слышен был. Не дозволишь ли мне измыслить за тебя посланье то? Передам тебе вскорости на благоусмотрение твоё.

– Спасибо за помощь, Гаврила Иванович, да после слов твоих мне самому охота припала потрудиться – пробу себе учинить. Напишу письмо ныне же ночью. А утрева пошлю к тебе с нарочным для просмотра и без ответа твоего грамоту им не отдам.

– Пробу твою приветствую, дело знатное, и для тебя экзерцис полезный. Но посылать ко мне бумагу ту невозможно – никому из челяди здешней доверять нельзя. Яз утром пришлю к тебе Прокопа твоего – ему передай. А вечером увидимся в сём же доме – тут бал назначен с музыкантами короля испанского. Буду в турецкой гостиной, помнишь – за деревянной лестницей? Там редко кто бывает. И там назад тебе отдам.

– Добре! Так и сделаем.

– А скоро ль полагаешь на Москву двигаться?

– Силы у меня мало – за лето думаю собрать войско и к осени двинуться.

– Здесь многого не соберёшь, царевич. Изрядно знаю яз людей польских: шляхта идёт выгоды своей ради – грабежом норовит добычу взять. Ненадёжно тако воинство, да иного тут не промыслишь. Когда же ко градам и волостям нашим подступишься и в Русь войдёшь, то люди наши сами тебе помогут, тогда и войско объявится. Бориса же страшиться неча – у него рать хоть и громадна, да не любят они царя своего, и, чаю, ежли встретят тебя на коренных наших землях, то драться с тобою не будут.

– Не будут, коли увидят, что голыми руками нас не возьмёшь!

– До того, государь, как встретим мы войско Борисово, у нас уже своё будет – от градов наших, от посадов, деревень попутных. Но потребно тебе не мешкать, середь панов здешних не красоваться, а скоро на коня садиться. Годунов не ранее зимы сможет собрать свою силу, а мы на то время к Смоленску али к Вязьме подходить будем, и тут он нас не возьмёт, потому за тебя вся земля наша встанет. Буди же упустишь срок – встретят тебя воеводы вражки на границе литовской, то с единой польской шляхтою не одолеешь их, и тогда, почитай, погибло дело твоё святое.

– Хорошо. Подумать надо. Может, и на Ильин день сможем выступить, хотя бы и с небольшою силою.

– Пригоже бы и ранее того – тут дела наши кончаются: король тебя принял и милость оказал знатную, казна припасена немалая, добровольцев берём свободно – боле ничего здесь не получим.

– То верно, можно бы и к Петрову празднику закончить сборы, да хотелось с невестой пробыть недельку лишнюю. Ты не осудишь, друже?

– Яз не судья тебе, Дмитрей Иванович, а лишь советник невысокий. А коли ты о невесте речь завёл, так дозвожь и мне слово молвить. Красавица она – превыше всех похвал, в том спору нет, да токмо и у нас на Москве найдутся дочки боярские не худче её, и свадьба твоя там с девицей православною, по старому обычью нашему, люба народу будет. Иностранку же, латинской веры, хулить у нас начнут, и не было того на Руси ни в царском доме, ни в простом купецком.

– Да, неудобство есть, и яз немало размышлял об этом. Но полюбилась она мне крепко, и разумна она вельми.

– Не ведал яз, что умом сияет дочка воеводы сандомирского, – того о ней не говорят.

– Науки книжной в ней нет, то правда, но пониманья много. Не раз беседовал с ней, как женихом объявился, – говорил, что хочу народ мой из темноты дедовской вытянуть, школы завести, книги печатать и порядки создать, как в других христианских странах устроены. Соболезнует она заботам моим и помощницей мне станет. Того не найду в дочерях бояр московских. Паче же всего доволен, что рабой моей безгласною она не будет, как русские жёны наши у мужей своих.

– А как в церковь ходить будет? Говеть и святых тайн причащаться?

– Мыслю, достигается сие по вере нашей, а не латинской. Не так упорна она в вере своей. Сейчас ксендзы её в руках держат, на Москве же иначе будет – иезуитов прогоним и своих попов приставим.

– Хорошо, царевич, не перечу тебе, да и свадьба-то не близко стоит – досужно будет обо всём подумать. Дай, Господи, скорого успеха на походе! Приеду к тебе, когда в Смоленске будешь.

– А почему ныне же не идешь со мною?

– Не можно, княже Дмитрей Иванович! На Москве родня осталась – всех погубит бесов сын, и ребят малых не пощадит. Да и для дела твоего полезно, чтобы яз, слуга твой, в столице жил и к канцлерам доступ имел. Обо всём, что узнавать здесь буду, извещать тебя стану с нарочными гонцами.

В сумерках того же дня Димитрий, отказавшись от какого-то приглашения на праздничный вечер, затворился у себя в комнате и принялся за историческое своё письмо к святейшему престолу в Рим с признанием католической веры и подтверждением, а вернее неподтверждением своих обещаний.

Он с полчаса ходил по ковру из угла в угол, вспоминая указания Пушкина, прикидывая в уме основной план изложения, потом сел, долю строчил чётким почерком, останавливался, соображал, нервничал, рвал листы, ходил и снова писал, пока не выполнил, наконец, уже к ночи, трудной своей работы. Вызвав слугу и приказав принести вина, затопить камин, сменить догоревшие свечи, он подкрепился едою, подышал, распахнувши окно, свежим воздухом, бросил в камин черновики и наброски и с удовольствием перечитал своё творение.

Обращаясь к папе Клименту VIII с чрезвычайной почтительностью, он объявлял себя сторонником католичества и повторял свои обещания в форме, дающей возможность толковать их и так и этак. «Святейший и блаженнейший во Христе отец! – значилось в письме. – Кто я, дерзающий писать Вашему Святейшеству, – изъяснит Вам преподобный посол Вашего Святейшества при Его Величестве короле польском, которому я открыл свои приключения. Убегая от тирана и уходя от смерти, от которой ещё в детстве избавил меня Господь Бог дивным своим промыслом, я сначала проживал в самом Московском государстве до известного времени между чернецами, потом в польских пределах в безвестии и тайне. Настало время, когда я должен был открыться. И когда я был призван к польскому королю и присматривался к католическому богослужению по обряду святой римской церкви, я обрёл по Божьей благодати вечное и лучшее царство, чем то, которого я лишился». Уверяя далее, что стал теперь «смирной овцой верховного пастыря христианства», он просил святейшего отца не оставить его

без покровительства. «Отче всех овец Христовых! Господь Бог может воспользоваться мною, недостойным, чтобы прославить имя Свое через обращение заблудшихся душ и через присоединение к церкви Своей великих наций. Кто знает, с какою целью Он уберёт меня, обратил мои взоры на церковь Свою, приобрел меня к ней!» Затем, после слов: «лобызаю ноги Вашего Святейшества, как самого Христа, и покорно преклоняюсь», в конце письма упоминалось: «Делаю это тайно и, в силу важных обстоятельств, покорно прошу Ваше Святейшество сохранить это в тайне. Вашего Святейшества нижайший слуга Димитрий Иванович, царевич великой Руси и наследник государств Московской монархии.

*Дано в Кракове 24 Апреля 1604 года*<sup>5</sup>.

Написано всё было по-польски со многими грамматическими ошибками и даже случайно попавшими русскими буквами, ибо, несмотря на свободное владение польской речью, правильно писать он в гощинской школе не научился.

На другой день утром к нему явился едва узнаваемый Прошка: с чисто выбритым подбородком и подстриженными волосами, в хорошем кафтане с обшивкою, при сабле, он походил на польского чиновника из большого присутственного места.

– Обрядился лепно, Прокоп Данилыч! На графа какого то смахиваешь!

– Боярин Гаврила Иваныч так повелел, и яз теперь но подьячий, а секретарь боярский. Кустюм вельми пригожий, токмо вот браду жалко!

– Ха-ха! А как живёшь, дышишь?

– Всего вволю, батюшка Дмитрей Иванович! И еды сладкой, вина доброго, и даже бабёнка есть. Но к языку ихнему приладиться не могу, да и по тебе скучаю. Хотел бы с тобой поехать, да боярин не пускает, бает, нужен ему.

– Яз возьму тебя, когда хочешь, но перечить Гавриле Иванычу не хочу. Снеси ему вот это да привет мой скажи.

Вечером Димитрий встретил Пушкина па балу в условленной комнате и получил обратно свою рукопись.

– Весьма добре и похвально писано, Дмитрей Иванович, – тихо по-русски говорил боярин. – Ошибки в написании исправлять не след: мы не поляки, и пусть там разумеют, что русскому царевичу нет нужды знать чужую грамматику до тонкости. Печать к бумаге привесить, и можно Рангони передать.

– Спасибо, Гаврила Иваныч! Похвала твоя вельми мне дорога! А почто ты Прошку задерживаешь?

– На всякий случай, не пришлось бы послать к тебе с бумагой важной, что другому и доверить нельзя. Он нам весьма пригодится. Однако надо тебе идти к гостям – смотри, там ждуть тебя.

Снабжённное русской государственной печатью с изображением орла и Георгия, письмо это было передано знаменитому иезуиту Савицкому, наставнику Димитрия в новой вере, переведено им на латинский язык и вместе с оригиналом отправлено затем через нунция Рангони в Рим.

Вернувшись из Кракова в Самбор, Димитрий увидел столько прибывших в его отсутствие добровольцев, что они уже не могли разместиться ни в замке, ни на его дворе и стали располагаться лагерем на большой поляне со спуском к Днестру. Мнишек всех их кормил, поил сивухой, ссужал деньгами, приказал им выбрать старост для ведения хозяйства и назначил военачальников из родовитых шляхтичей.

<sup>5</sup> Е. Богрова – Монография «Дмитрий I», 1913 г.

Димитрий серьёзно вглядывался в это своё войско, из коего было более половины конных людей с хорошим оружием и сотен пять-шесть пеших с мечами, копьями, большими ножами и просто дубинами. Это было всё, что дала ему великая Польша, если не считать денежной помощи короля (сорок тысяч червонных). Настоящего войска король не дал и войны Борису Годунову не объявил; разрешение же набирать добровольцев привело к Димитрию эту разношёрстную толпу, конечно недостаточную для серьёзных сражений.

Он понимал, что вся эта большая ватага, привыкшая к весёлой, бесшабашной жизни, вовсе не интересуется целями его войны: ей никакого дела нет, будет ли сидеть в Москве тот или иной царь, и Димитрий ей нужен лишь как вождь в погоне за лёгкой наживой. Он медлил выступать, но Мнишек ежедневно торопил его, ссылаясь на крупные расходы по содержанию войска, на порчу воинов от бездеятельности и жалобы местных жителей на их пьяные безобразия. Марианна понимала своего жениха и советовала не слушать отца, а ждать пополнения войска, не пускаясь в трудное дело с двумя тысячами человек. Прибывали они ежедневно, но понемногу, так что нельзя было рассчитывать к Ильину дню иметь хотя бы пять тысяч кавалерии, и это очень беспокоило царевича. Но помощь неожиданно появилась с другой стороны.

Однажды три вооружённых, пропылённых дальней дорогой всадника, сойдя с коней на замковом дворе и осенив себя православным крестом, заявили о своём желании видеть царевича Димитрия. Их хотели проводить в общий лагерь, но они объяснили, что прибыли не для похода с царевичем, а в качестве послов от некоей рады и будут говорить о своём деле только лично с ним самим.

Димитрий немедленно принял гостей в присутствии одного молодого служки, грамотного по-украински и могущего быть секретарём. Вошедшие были немолоды, коренасты, загорелы, небриты, загрязнены, с грубыми лицами и руками, но бойким взглядом. Первый назвался казацким хорунжим из Чернигова, второй – бывшим куренным атаманом из Сечи, а третий был поп. Одеты были все не бедно: казаки – в суконных свитках, при турецких саблях, шёлковых поясах и дорогих пистолетах, а поп – в короткой ряске, удобной для верховой езды, с палашом на боку, серебряным крестом на груди и камилавкой на голове. Они приветствовали царевича земными поклонами, поднесли ему великолепную грузинскую саблю в серебряных ножнах чеканной работы с надписью: «От верных рабов твоих, государь наш!» и, не согласившись сесть на стулья, изложили – устами хорунжего, – зачем приехали.

Недалеко от Чернигова, по Десне, давно уже шалили разбойничьи ватаги, беспокоившие местных помещиков, а этой весною атаманы тех ватаг, встретившись в Котовицах – небольшом селенье под Черниговом, решили сообща идти на Остер, а оттуда на Киев, собрали своих людей, выбрали предводителя и остановились лагерем на берегу Десны.

Тут стали приходиться к ним хлопцы, отряд пополнялся, продовольствия хватало, казна тоже не пустовала, и они, имея около двух тысяч воинов, хотели наконец выступить, как вдруг, на том самом круге, где это обсуждалось, появился некий панич из Киева, знакомый одному из атаманов, православный, хорошо одетый, и рассказал кругу, что в Польше объявился царевич Димитрий, собирающий войско для похода на Москву. А в местах тех и раньше того слухи ходили, что в Москве ненастоящий царь сидит, а законный где-то скрывается, и когда объявится, то первое всего земли боярские хлопцам отдать велит, кабалы снимет и всех беглых примет без повинности. Панича сего слухали крепко, особенно же москали беглые, каковых на кругу оказалось немало; и порешили они послать гонцов в Киев на проверку сих вестей. Посланные вернулись вскоре и сообщили, что царевич в самом деле открылся, был у короля польского, а теперь стоит в Самборе, войско собирает, Москву воевать будет. И тогда рада послала вот их троих на поклон к Димитрию, и они молят государя принять присягу ихну. За себя и за войско своё клянутся они в верности ему, Дмитрею Ивановичу, царю московскому, и крест ему целуют – для того и попа привезли с собою православного. Все трое опустились на колени, но Димитрий тотчас же их поднял.

– Готовы служить царскому величеству твоему, – говорил бывший куренной. – Сам я москаль рождённый, семь годов на чужбине тоскую и сколь всякой лихости принял! Многие тысячи, государь, пойдут за кличем твоим, когда ближе к нам подойдёшь.

– Душою рады мы, – отвечал Димитрий, – видеть у себя людей православных – опостытели здесь попы латинские! Вы первые явились к царевичу своему – жалую вас двоих дворянством, а тебя, отче, клобуком Протопоповым. Верю вам и уповаю, с Божьим благословением и вашей помощью, одолеть врага моего – облыжного царя Бориса. Всему народу христианскому то на радость будет, и всяк, кто захочет на земли наши вернуться, – дорога ему невозбранна, никакие кабалы и крепости не связуют нас. Так и скажите раде вашей доблестной. Вольности же ваши старинные, украинские подтверждаем полностью. Да ещё жалуюм мы вас подмогой малою на почин великий. Вот, примите! – Царевич взял резную красного дерева шкатулку и хотел передать её послам, но тут заметил вырезанный на ней герб Мнишка. – Не годится сия гербовина! – сказал он и, открыв шкатулку, высыпал её содержимое – две сотни червонцев – на покрытый бархатной скатертью стол, а затем, подняв скатерть за углы, передал это казакам.

– Везите, други, атаману своему! Рад буду, ежли пригодится! А когда возвращаетесь?

– Утрева, государь. Торопимся мы и наказ имеем не мешкать здесь. За щедроты и ласку твою благодарим усердно! И скорого прихода твоего к нам желаем!

– Добре! Держать вас не буду, да токмо завтра, не повидав меня, не отъезжайте!

Он приказал поместить послов в хороших покоях, кормить как панов и служить им во всём, а сам по их уходе сел за письменный стол писать послание к той самой ватажной раде, от коей они приехали. Принимая верность черниговских повстанцев, он звал их в поход на Москву, обещал забвенье всех старых грехов и счастье на родине, говорил, что скоро лично явится перед людьми своими и поведёт их против изменника Бориса Годунова, призывал Божье благословенье на казаков.

Затем написал другую грамоту – обращение ко всему русскому народу. Знакомство со старыми книгами в русских монастырях и переписыванье разных игуменских рукописей познакомили его со слогом больших царских или патриарших воззваний, но он не хотел полностью копировать их скучные повторенья по несколько раз титулов, наименований и витиеватых выражений, а потому написал всё по-новому, сохранив от старины лишь адресный заголовок, но прибавил к нему упоминание о чёрных людях. Получилась небольшая, но интересная и всем понятная окружная грамота – первое его послание к своим подданным.

«От царевича и великого князя Дмитрея Ивановича всея Руси (в каждый град имянно) воеводам и дьякам и всяким служилым людям и всем гостям, торговым и чёрным людям» – так озаглавлена была бумага. Говоря о том, как Божьим произволением он спасся от убийц годуновских, и оповещая всех, что идёт на престол прародителей своих, Димитрий напоминал русским людям о старой присяге, данной ими его отцу, царю Ивану Васильевичу, и чадам его, а стало быть, также – в числе последних – и ему, Димитрию, и призывал: «И вы ныне нашего изменника Бориса Годунова отложите к нам и впредь уже нам, государю своему прирождённому, служите и прямите. А яз начну вас жаловати по своему царскому милосердному обычаю и наипаче свыше в чести держати и всё православное христианство в тишине и в покое и во благоденственном житии учинити хотим»<sup>6</sup>.

Он очень желал упомянуть тут о разных льготах для простого народа: о снятии кабалы, наделении землями и прочее, и даже написал в черновике, но потом вычеркнул, сообразивши, что это не понравится воеводам и чинам дворянским и не только не привлечёт их на его сторону, но и прямо оттолкнёт. А так как читать послание будут прежде всего грамотные дворяне и попы, то в таком случае они постараются, чтобы грамота совсем не дошла до народа. «Такие

---

<sup>6</sup> «Памятники русской истории», 1909 г.

посулы, – решил он, – можно на словах учинить, а коли доведётся, то и на деле их выполнять, за ратью народной, но писать о них не следует».

На рассвете следующего дня он попрощался с казацкими послами, прочёл им вслух свои грамоты, показал печати и, вложив в красивые кожаные обёртки, отдал. Потом приказал подать четыре кубка вина и, воскликнув: «Пью за веру православную, за Русь святую, за войско моё храброе! Да здравствуют навеки нерушимы!» – выпил до дна. «Аминь!» – ответили казаки, осушая кубки и выливая оставшиеся капли себе на голову.

– Посуды сии дарю вам, други, на память. Раде же вашей скажите, что через три дня выступаем мы до Днепру и через две недели будем у реки сей. Пусть войско ваше подходит ближе к Сорокошичам и, когда мы берега достигнем, поможет переправе нашей.

Через час уже весь замок знал о назначенном выступлении, и всё пришло и необычайную суету: начали спешно ковать лошадей, загружать подводы провиантом и фуражом, чинить колеса, чистить оружие и прочее. Стук и гам раздавались со всех сторон, одновременно с песней.

Накануне отъезда вечером Димитрий и Марианна гуляли в саду. Подойдя к пруду, они сели в лодку и, отпустив гребца, поплыли по тихой воде вдвоём.

– На остров, царевич. В беседку!

Вышли на крошечный островок, почти целиком занятый беседочкой – навесом с небольшим столиком и скамьями, утверждёнными на мраморных колоннах, годным для укрытия от дождя или солнца. С берега днём весь островок был на виду, но сейчас, в сумерках, уже нельзя было ничего разглядеть.

– Не о том грущу, коханая, – говорил Димитрий, садясь на лавочку, – что расстаюсь с невестой, привык уж к мысли сей, а болею холодностью пресветлой панны: до сегодня лишь раз один поцеловать её мне удалось, словечков же любовных почти не слышал! Надолго ли сохраниюсь в памяти моей Марианны?

– Напрасны жалобы, мой рыцарь! Не склонна я к любовным, сладким фразам, что в стихах поют, стесняюсь как-то их. Но памятью меня Бог не обидел, и уверяю принца, что дня единого не проживу, не вспомнив его лица и разговору. Ведь я давно с ним в мечтах своих беседую! И только с ним одним! Теперь же грусть разлуки располагать к молитве будет. Я каждодневно буду молиться за царевича.

Он приблизился к ней, взял руку, поцеловал.

– И будет мне писать эта маленькая ручка?

– Будет, коханный мой! Но и в письмах громких слов тоже не найдёт принц – не умею этого делать; росла здесь среди леса, ну, и научилась больше молчать да думать. Чувствую же я сильно – и обиду, и злость, и любовь! Прошлый раз я не дала принцу ответа на вопрос, люблю ли я его. Это не потому, что не расслышала, а сама не знала, что сказать, – подумать хотела. И думала много, да только и сейчас не знаю! Вот позавчера, когда принц долгое время послов принимал и ко мне не вышел, я даже плакала, так захотелось видеть, так собралась говорить о многом, слышать любовные уверенья и самой ответить! Но понимаю я, что послов нельзя было оставить, и не в осужденье говорю это.

– Верю моей ненаглядной, и никакая видимая её холодность не погасит огня души моей!

– В одной сказочке старинной, что с детства помню, сказано: горячность любовная познаётся не в словах красивых, не на садовой скамейке... – тихонько заговорила она. Принц узнает!..

Ее ручка чуть дрогнула, она взволнованно замолчала, и Димитрий мягко, но неотступно притянул её к себе, целуя в губы, глаза, щёки...

Она вдруг порывисто обвила его шею руками и сама крепко, с упоением поцеловала в губы, прижалась, плающая, возбуждённая... И так же вдруг вырвалась, поправляя причёску.

– Пора! Кругом огни, луна восходит. Не можно больше!

– Марианна! Красавица! Ещё один...

– Скорее в лодку! Там ждут нас.

В тишине ночи они молча возвращались к берегу.

– Да! Чуть не забыла! Не будем торопиться, дорогой мой, покатаемся немного. – И едва слышно продолжала дальше: – Вопрос у меня есть к принцу. Я дважды уже слышала злые слухи про царевича... Не гневайся, мой коханий, но я хочу знать из уст твоих: в чём дело? Скажи мне правду – я не боюсь её: теперь ничего уже не изменится, и я всё равно с тобою!

– Посмел ли бы я обманывать Марианну? Но незачем мне обманывать! Историю мою ты знаешь – она правдива: с детских лет меня царевичем зовут. Но дабы рассеять слухи и сомненья – клянусь тебе! – Он быстро вынул из-под платья золотой крест и, держа его перед собою, торжественно заявил: – Клянусь памятью моего отца, царя Ивана Васильевича, что не ведаю обмана я в имени моём, ибо кровный сын его есмь! Аминь! – И он поцеловал свою святыню.

– Аминь! – подтвердила Марианна. – Благодарю царевича и не забуду того, что слышала.

Проводив её до шумной залы, он удалился в свои покои: был так взволнован, так настроен счастливо и грустно, что не хотелось оставаться на людях. Хоть и поздно заснул он в ту ночь, но встал до солнца, почувствовав приближенье рассвета через открытое окно. Не желая будить слуг, он, не одеваясь, зажег от лампы свечу, осмотрел свои шкапулки, убрал бумаги, драгоценные вещи, запер сундуки и задумался. В окно глядела заря, и начинался день – первый день его действительной жизни: сегодня он наконец выступает с войском в поход, идёт добывать престол отцовский, потрясать огромное государство. Что ждёт его? Почести? Марианна? Или застенки? Плаха на площади? Тёмная судьбина безвестная!.. На столе оставался листок бумаги, и он машинально написал на нём «Марианна», попробовал что-то нарисовать и дописал: «Он не отдаст мне её, если не получит Смоленска!» И улыбнулся: никогда он не получит не только Смоленска, но и ни одного клочка земли русской! Марианну же отдаст просто за деньги, за уплату его долгов. Он жулик, этот Мнишек! Да и все они хороши! С этим жалким войском разбить годинскую рать – смешно и думать! Однако идти на Русь с большой польской силой он тоже не хотел бы: эти друзья таковы, что не всегда от врагов отличишь! Всё упование иметь надо на русских повстанцев, от поляков же избавиться как можно скорее. И ни в каком случае не позволять им заниматься грабежом. Иезуитов после перехода Днепра тоже держать подальше и завести своих попов. Жаль, что сейчас их нету. Вот перед выходом надо бы молебень отслужить, а некому! Молиться же с ксендзами, упоминая короля и папу, неохота. Он вынул из сундука русскую икону, подаренную Пушкиным, прочёл перед ней молитву, поцеловал, убрал и, вызвав слугу, стал одеваться.

Через час во дворе замка он сидел на превосходном коне, в алой бархатной епанче и золотом венецианском шлеме, статный и ловкий, с острым, возбужденным взглядом, он казался красивым. Рядом с ним был Юрий Мнишек и несколько позади – многочисленные шляхтичи, отправляющиеся в поход. Вся эта компания блистала нарядами, страусовыми и петушиными перьями, дорогим оружием и упряжью. Панна Марианна, огромная толпа гостей и ещё большая – дворни стояли возле всадников, провожая, напутствуя, поднимая с криком последний кубок за успех принца и пана Мнишка, махая платочками. Ксендзы благословляли большими черными крестами, кропили святой водой, хор пел что-то торжественное. Солнце сияло на безоблачном небе. Димитрий, отдав последний поклон Марианне, двинулся под звуки труб со своей кавалькадой за ворота. Тут к ним присоединился остальной отряд – конные и пешие, а за ними потянулся длинный обоз. Лагерные воины тотчас же загорланили походную песню, под звуки бубенцов с колокольчиками забренчала лютня, с дальнего конца доносилась волынка, и царевич пожалел, что едет не с воинами, а с именитыми панами, не знающими таких песен и не умеющими петь при езде на конях.



## Глава третья

### Поход



В Чернигове на базарной площади заканчивалась недельная ярмарка: разъезжались возы, разбрелись мужики, унося и увозя деревенские покупки и обнови. Большой кабац-кружало на Торжке был наполнен разнообразной толпой, сводившей счёты по торговле, пропивающей выручки. В душном, тяжелом воздухе старого кабацкого дома, с прокопченными стенами, маленькими окошками и низким потолком, стояли шум, гам, ругань, слова молитвы, песня, звук бандуры и прочее.

Целовальник с подручными едва успевал наливать сивуху всем жаждущим.

Видный стрелец в праздничном кафтане сидел за столом у окошка, что посредине стены, и нетрезво-громко, перебивая товарищей, говорил двум своим собутыльникам:

– Все добри! Дьявол бы их побрал! И наши воеводы, и украински старшины, и паны ляшские! Всех их к тому дьяволу в пекло, в самый зад туды задвинуть да кочергой бы ещё придавить!

– Пей, Матвеич, да не дери глотку на воеводу, другой раз уж помянул его, – народ слышит!

– Правду баю! И то всем ведомо! И страшиться мне неча. Наплевать! Взял суму да пошёл – ничего не потерял! Утрева – стрелец, а вечор – удалец! Иду к атаману, вот те и сказ. И не миновать того! Сил боле нет так служить!

– Подумаешь, и впрямь тебе плохо жить! – вмешался мужик со стороны. – А кому и житье ныне, как не стрельцам! Побывал бы ты в нашей шкуре!

– Не веришь? Вот и все тако! Не верят! Крест целую! Чтоб сей же час провалиться – спаси, Пречистая, – он перекрестился, – коли обедаю каждый день! Про шинки давно забыли мы – раз в году бываем, душу повеселить последним грошём, да и то батогов ждёшь всечасно от боярина.

– Верно, друже, – подхватил лошадиный барышник с кнутом за поясом, – нелегка служба сторожевая, и батогоми вашего брата тоже угощают. Да не ведаешь ты, каково протчим людям приходит! У нас на Белграде – мы оттоле десяток коней пригнали на ярмарку: дешёво там продают их за нуждою, – в Белграде нашем приказанье воеводино было весною засеять шестьсот десятин пахоты царской, оброчной. Неслыханное дело! Сколь ни умоляли православные – ни единой десятины не скинул, баял: по царскому указу из Москвы то чинит. За неполненье же кнутом грозил и разореньем. Так весь град наш и орал на диком поле, и в дождь и в вёдро, и собрали хлебушко, сдали куда указано, да сами-то ныне без куска остались – последних коней продают.

– То не токмо в Белграде твоём, а и у нас в Осколе тож – семьсот и пятьдесят десятин оброков царских подымали! И в Ельце столь же, коли не боле. Ревёт народ!

– И многие на степь двинулись.

– С кистенями по дорогам?

- Как брюхо укажет! Знамо дело – голодный рад и кистеню доброму.
- Ты, дядя, видно, не в убытке от лошадок-то! Поставил бы нам посудину за здоровье твоё! Хлеборобы мы тутошние, вольные.
- Ради добрых друзей чего не сотворишь! Эй, человек! Ещё вина сюда! Пейте, други! На всё для вас готов! Можя, коников ваших продадите? Цену даю знатную – нигде столь не получите, и без обману.
- Буди здоров, купчина. Добре водка! Побачим и о кониках – дай время.
- Василий Палыч! Да ты здесь! Чаял видеть тебя в Белом граде, а ты в Черни-граде! – воскликнул подошедший молодой парень в суконной поддёвке и бросился обнимать прасола. – А мы с Москвы!
- Рад куму! Садися, пей, вина ещё спросим! Како жив еси?
- Дивлюся, благодетель мой, что жив-то! Себе не верю! Насмотрелся по дороге такой красы, что и в сказке старухиной не слышал.
- Разбой? Тати?
- Почитай, целые деревни и посады в шиши пошли – нигде проезду нет: дерут, что могут, с живого и с мёртвого. И сам я под Калугою, страха ради, в ватагу к ним вошёл – тем и спасся, и даж коня получил.
- А сюда ты почто?
- Думал на ярмарку поспеть, да опоздал, – послезавтра домой еду.
- Едем, Иван Саввич, завтра вместе – у меня всё сложено, хоть сейчас в путь.
- Не можно, друже! Заделье некое есть тут, на день един. Обожди – душевно рад тебе буду!
- Каки теперь дела? Торжище кончилось, и наши все уехали.
- Помнишь ли, – заговорил тот тише, – про некую вдову писарскую я тебе по весне сказывал? Так вот, с ней видеться желаю.
- Как бишь её? Марфушка, что ли? Крепко же ты к ней прицепился! А дома-то небось жена ждёт?
- Вдовицу утешить – что странника накормить – сорок грехов за то прощается!
- Ха-ха! Утешь, парень! Подарки, поди, из Москвы привёз?
- Ино не бывает, дорогой мой. Всё по чести, и купил там задёшево – почитай, даром взял: за полмешка муки овсяной – человек из беды выручил.
- Кажи, что привёз?
- Бусу добрую. – Он достал из-за пазухи грязную тряпку, развернув которую показал голубой шёлковый платок с узорами, а в нём нитку жемчуга с маленькой золотой застёжкой. – На шею ей надену – давно собирался и обещал. Теперь довольна будет!
- Марфа Ивановна-то? Ещё бы! Чаю, в жизни того не видела.
- Тимофеевна, друже, но кричать о том не след.
- Про какую Марфу Тимофеевну речь ведёшь ты, брате? – спросил стрелец, неласково взглянув на приезжего.
- Про покойную тёщу мою, что чужи речи подслушивать любила, да один раз с досады натужилась и под себя сходила!
- Сидевшие захохотали.
- Я тебе толком баю: не про Синюхину ли вдову ты речь держал?
- А тебе какое дело, друже? Что знаем, то баем, – никого не хаем!
- Так слухай же ты, зубоскал подлый! – крикнул стрелец. – Николи Марфа с тобой не пребывала и подарков твоих брать не будет! А ты всё врешь, яко тать московский!
- Собака лает – ветер носит! Я, брате, и не такое слыхивал в корчмах да в притонах чёрных. Не дивлюся разуму твоему.

– Молчи, пёс! – заорал уже во всё горло пьяный стрелец, ударив кулаком по столу. – Мы тебе укажем дорогу ко вдове! Ты забудешь...

– Аль задел за ретивое? Так бы и сказывал, что сам по ней тоскуешь, да не милуешь!

– Ты – вор! Разбоем промышлял с ватагою! И бусу сию на Москве выкрал! Яз доказчиком на тебя пойду и воеводе доведу о разбое твоём!

– Ты сам вор, и воеводу здесь бесчестил – все слышали!

– Яз бесчестил? Яз? Так на ж тебе!.. – И он ударил молодца в щёку. Тот моментально ответил тем же, и свалка разгорелась бы немалая, если бы окружающие не поспешили их разнять. Стрелец с товарищами вышел из-за стола.

– Ан славно, друже! – кричали ему. – Убирайся, проваливай! Нам место освободи!

– Не долго попируете! Ты вспоманешь меня, бесов сын! – произнёс он злобно, скверно выругался и, продолжая угрозы, отступил к выходу.

Драка привлекла внимание посторонних. Приехавшего из Москвы предупреждали со всех сторон об опасности ссоры со стрельцами, советовали немедленно покинуть кабак, ибо теперь он может ждать от них мести.

– Не из пужливых мы, да и время ныне не то, чтобы пред ними на брюхе валяться. Здесь не Москва!

– А рассказал бы ты, молодец, про Москву!

– Да! Да! Про Москву! – крикнули из угла.

– Рассказать можно. Отчего не сказать? – начал он, вставши, обращаясь к народу и приосанившись. – Езжали мы во град Москву и видели там, братцы, не таково много, чтобы было чем хвастаться. Людишки мы малые, разума жалкого, достатку не валкого: чего и увидишь – в толк не возьмёшь. Простите угодников ради!

– Не ломайся, сказывай!

– По торговлишке мелкой мы на Москву езжали, да нету там торгу ныне – опричь ветоши ничем не торгуют. Ничего и мы не купили. Народу в столице после глада прошлогоднего мало осталось – многи дома вовсе стоят заколочены, травой зарастают. И жители обедняли супротив прежнего: кони у бояр токмо обретаются, у прочих же ничего нет. Холопей барских, почитай, половина сбежала, либо сами господа ихние прогнали со двора – с кормов долой. Сие лето урожай был хоть и невелик, но боле не мрут с голоду, одначе от тех лет воспрянуть не могут и поныне плачут от разоренья. Угрюмы люди стали, озлобленны да и боязливы.

– Чего ж они боятся? Глад-то прошёл ведь!

– Боятся, браток, там есть чего: сыщики так и рыщут, да и своих доводчиков у каждого довольно – за всяко слово лишнее тянут в пытошну башню. Бают, при царе Иване того не бывало. Ищут во вся дни хлопца некоего, что царевичем Дмитреем будто бы прозывается.

– Дмитреем? Мы тож слышали! Бают, он жив где-то! Сказывай!

Кружало насторожилось, к рассказчику потянулись отовсюду, шум стал стихать.

– Так вот, там слух такой в народе ходит, что царевич Дмитрей жив и будто бы скоро на Москву пожалует, земли боярские народу выдаст, кабалы простит, беглых наградит. Мало ли что народ спяна лопочет, но велено за те речи хватать и в застенок отдавать. И видели мы, как...

– Стой, лиходей! Стой, ворюга! – кричал, пробираясь сквозь толпу, давешний стрелец, но уже не один, а с несколькими вооружёнными товарищами. – Берите его! Имайте! Ныне весь кабак, все люди слухали, как он царевича поминал вживе, супротив указу государеву! Вяжите его! Не мешкайте! Награду за него возьмём с воеводы нашего. Скорее! Пока сотский не пришёл – а уж сказано ему!

Стрельцы нерешительно подходили к рассказчику, изменившемуся в лице, но не отступившему.

– Православные! – обратился он громко к своим слушателям. – Неужели дадите на терзание кровь неповинную?! Стрелец сей по злобе, по ссоре со мной за бабу ту, идет на меня. Ни в чём не виновен емь аз! А про царевича не один раз там слышал и здесь баял, что знаю, без утайки. Заступитесь, братцы, не дайте в обиду!

– Не тронь его! – раздалось от задней стены.

– Не смей имать!

– Стрельцы! Не трогай! Уходите! Не дадим хлопца!

– Мы тож про царевича слышали!

– Жаль, что не видели!

– Говорят, он жив!

– Бей стрельцов!

Стрельцы остановились, некоторые уже повернули к выходу и, вероятно, ушли бы все, да тут вошёл в кабак их сотник вместе с воеводиным дьяком.

Они, грубо расталкивая народ, не снимая дорогих шапок, проходили вперед.

Люди расступались перед ними, но никто не бежал на улицу, как это было бы в таком случае в Москве.

Начальник, толкнув двух стрельцов, зарычал:

– Ну, что же стали, сукины дети, як столбы? Плетей захотели? Вечор своё получите! Имайте изменника и вора! Вяжите его! Аль забыли наказ воеводин! Живо!

– Стой! Стой! – закричали сзади.

– Кто орёт «стой»? Кто? Я тебе покажу «стой»! – повернулся сотник, вытаскивая пистолет и направляя его на одного из сидящих. – Ты кричал?.. Ты?

Неизвестно, чем бы кончилось это дело, – стрельцы уже схватили «вора», он кричал о невинности, настроение у остальных приподнималось, крики с разных сторон продолжались, и, может быть, пьяная толпа решительно заступилась бы за парня – но в это время случилось совершенно неожиданное обстоятельство.

В горницу ввалилось человек шесть богато одетых и хорошо вооружённых казаков с седоусым казачьим атаманом во главе.

– Гей! – крикнул последний. – Шинкарь! Вина на всех! И мне кубок венгерского. Слушайте, люди! Кто тут не лях, не жид, а православный?.. Клянись тот именем Христовым на верность царевичу Дмитрёю Московскому!

– Что? Дмитрею? – быстро перебил его дьяк. – Держите вора!

– Се кого ж держати? Меня, что ли? А у тебя голова разве лишняя?

– Говори, батько! Сказывай! Плюнь на них! – разом зашумел кабак. – Хотим царевича! Не выдадим!

– Слушаем атамана! Уймись! Молчите!

– Царевич с войском своим вольным подошел ко Днепру реке, по ту сторону ныне стоит и завтра к нам переправу творить будет, малость повыше Деснинска устья. Наши встречать уже выехали, броды ему указали, две суды по реке пригнали, и я сам очами своими видел его милость и баял с ним. Приветы шлёт он воинству нашему, обещаенья знатные, льготы, земли людям дарует, обласкал, як детей своих, красавец наш коханий! Пошли ему Господь успеха! Выслал он нас к воеводе в Чернигов с грамотой и повелел воеводу того к присяге привести. Были мы у воеводы и днесь оттоле. Не принял он присяги, потому попа, бает, под рукою нету, ну, а при нас клялся царевичу, без крестна целованья, и государем его признал. Через три дня и сам царевич здесь буде. Православные! Конец москальским собакам, дьякам и воеводам! Пью за здравие государя Дмитрея Ивановича! Ура!

– Ура! – дружно и во всю глотку гаркнула толпа. – Да жив буде! Наш царевич! Ура! Идём к нему! Бей стрельцов! Держи крысу!

Но стрельцы и дьяк-крыса не заставили себя ждать, а своевременно улизнули во время речи атамана.

Через несколько дней Димитрий в сопровождении блестящей свиты, шляхтичей, казаков и повстанцев торжественно въехал в Чернигов. Чуть не весь город вышел встречать новую власть за вал, на большую дорогу, и тысячная толпа всякого люда приветствовала царевича несмолкаемыми восторженными кликами, бросая на путь зелёные ветки, расстилая одежды, стреляя из ружей, заглушая колокольный звон и звуки волюнок. Воевода подносил хлеб-соль, протопоп благословлял крестом и кропил святой водою, певчие пели «Осанна!»

На ступеньках каменного крыльца большой старинной соборной церкви, что на той же площади, где и кабак, было разостлано алое сукно, по перилам же висели шитые золотом бархатные скатерти. Тут стоял в блестящем облачении архиерей с крестом, по бокам его – попы с иконами, дьяконы с кадилами, церковные певчие, стрельцы в красных кафтанах с бердышами, а за ними воеводины домочадцы и всякая челядь, упавшие при появлении царевича на колени. Димитрий был одет в короткий русский кафтан малинового бархата с золотыми нашивками и смушковую казачью шапку с золотым русским орлом на ней. Спокойной поступью вошёл он на крыльцо, принял благословенье епископа, приложился к иконам и проследовал в собор. Выйдя оттуда, он широко взмахнул рукою – клики, гомон стали быстро смолкать, указал на колокольню – и там прекратился звон. Тогда с величавым жестом Димитрий обратился к морю непокрытых голов, наполнявших площадь.

– Православные! Дети наши возлюбленные! Божьей милостью мы, царевич Дмитрий, сын блаженной памяти государя царя Ивана Васильевича – упокой, Господи, его душу! (он перекрестился, а за ним вся площадь) – ныне, после долгого безвестья, являемся всему народу нашему! Господь Бог дивным промыслом своим чудесно сохранил нас от руки изменника Бориса Годунова, иже на царстве нашем днесь сидит обманно и преступно. Мы идем престол родительский имати и всех вас призываем – и воевод, и купцов, и казаков, людей посадских, и беглых, кабальных, чёрных и всех протчих без различья – служить нам и во святом нашем деле помогати! И всем вольности старинные даруем! Нет боле кабалы на царстве нашем! Нет записей о беглых и нарицаний! Всяк волен домой идти без сумненья. Десятину царскую – Борисову, что по градам здесь наложена, снимаем с вас, и хлеб, что в лето сие собрали, боле в закромы воеводины не возите, а себе берите и вкушайте во здравие, с благословеньем Божьим и нашим изволеньем. Войску моему храброму, как русскому, так и польскому, скажу днесь: живите здесь тихо и обид никому не чините – то не в чужих землях идём. Нову жизнь начинаем, православные! И да будет правда на святой Руси стоять крепче всех твердынь земных. Аминь! – Подняв поданный ему кубок, он продолжал: – Пью за войско моё доблестное, за казачество преславное и за любезных чад моих, встречу свою меня почтивших! Да здравствуют на многи лета!

Неописуемый восторг охватил народ после этой речи – радость насытых людей, у которых сегодня будет хлеб! Кричали все, кто только мог, женщины и дети не отставали от мужей и отцов: «Да здравствует царь Дмитрий! Здрав буди! Отец наш! Все за тебя! Веди нас! Ныне хлеб получим! Не выдадим! Смерть воеводам!» В порыве энтузиазма толпа инстинктивно придвинулась к собору, махала шапками, орала, теснясь вплотную, желая ближе увидеть давножданного вождя-избавителя. Огромный казак, протискавшись с большим трудом к самому крыльцу, выпучив глаза, красный от натуги, вдруг гаркнул перед Димитрием:

– Здрав буди, царь Митряй! – И с размаха упал ему в ноги. – С собой возьми! Послужу ти головою!

Весь этот день веселился народ в Чернигове. Двадцать бочонков вина было выкачено за счёт царевича на улицу. Песни, пляс, бандуры не умолкали до ночи; имя избавителя было у всех на устах, одновременно с проклятьями по адресу московского правительства.

Расположившись в воеводином доме, Димитрий в тот же вечер написал парю Борису письмо, в коем, не именуя его по титулу, предлагал ему оставить престол и добровольно удалиться в монастырь, обещал в таком случае неприкосновенность как ему самому, так и его семье, а равно и довольствие безнужное до конца дней. «Ибо всё равно тебе, Годунову, на царстве боле не сидети, потому что вся земля русская того не хочет, за мною же народ с радостью идёт!»

Он хотел послать это письмо в Москву с тем самым черниговским воеводою, что встречал его сегодня за градом, коего хотелось ему удалить. Но, понимая, что боярину сему теперь, после присяги новому царю, неудобно являться перед очи Борисовы, боялся, что может воевода, уничтожив письмо, отъехать, вместо Москвы, в другое место, а потому решил вручить ему грамоту при свидетелях в какой-нибудь церемонной обстановке, с архиереем. Но заботам о сохранности письма помогло случайное обстоятельство. Утром к нему привели избитого человека, с кровавыми синяками на лице, всклокоченной бородой, без шапки, в порванном дьяческом кафтане, и объяснили, что это один из трёх людей – московских дьяков, приехавших сюда с грамотой царя Бориса для прочтения её в соборе после обедни, и что они уже были в других городах и там её читали. Двоих его товарищей черниговцы так избили, что они лежат в придорожной крапиве и едва ли встанут, а за этого – главного – заступился атаман казацкий и приказал волочить его к царевичу вместе с царской грамотой. На расспросы Димитрия об имени и звании, о посещении других мест и прочем задержанный отвечал весьма неохотно и скупо, а когда царевич предложил ему остаться у него на службе, дьяк замолчал совсем.

– Прикажи, государь, – вмешался атаман, – повесить собаку на первой осине. – Нет, – ответил Димитрий, – он верно служит своему царю, и я хотел бы, чтобы мне мои люди так же служили. Пусть едет в Москву вместе с воеводой и передаст моё письмо Борису Годунову – сего ради и жизнь ему дарю. – Он сообразил, что избитый и оставшийся верным Борису дьяк, не имея причины скрываться от своего царя, конечно, доедет до Москвы и передаст послание.

В грамоте, отобранной у дьяка, он прочитал казённое извещение от имени царя и патриарха ко всем городам и посадам о появлении самозванца – бывшего монаха Гришки Отрепьева, именующего себя царевичем Димитрием, о предании его анафеме и необходимости борьбы с ним всеми средствами. Размышляя над этим документом, царевич понимал, с какой стороны грамота может быть опасна: широкие народные массы, низовые люди ей не поверят, сочтут за простую клевету бояр московских – за неделю общения с казаками, со времени перехода границы, он убедился в этом, – а вот для всякого рода служилыхлюдей, стрелецких сотников, дворянских господарчиков и грамотных попов царское послание может оказаться не бесплодным и внести немало сомненья, особенно при ошибках самого Димитрия в поведении или – ещё вернее – при поражении его на поле битвы. Правда, в войске у него таких людей немного, но по городам, посадам, монастырям их встретишь на каждом шагу, и они в местах своих влиятельны, а потому следовало бы что-нибудь предпринять, дабы с ясностью для всех опровергнуть грамоту Борисову, но что надо сделать, он пока не мог придумать.

Но дело это, конечно, не первой важности, главное же теперь – это воспользоваться подъёмом народного духа, какой он наблюдал при въезде в Чернигов, и немедленно двигаться дальше, постараться занять ещё несколько городов, прежде чем царь Борис сможет выставить против него большую рать. Стояла осень, и до распутицы необходимо было подойти хотя бы к ближайшему крупному пункту – Новограду Северскому и за его крепкими стенами укрыться на зиму. Посоветовавшись с Юрием Мнишком и казацкими старшинами, царевич через три дня выступил по направлению к этой крепости.

Зимними, затуманенными вьюгой сумерками в чёрной избе постоялого двора, на дороге между Орлом и Курском, сидели за едой двое проезжих, видимо, следующих из одного места. Маленькая восковая свечка прилепленная прямо к непокрытому столу, освещала бородатые

лица, грубые руки, теплый стрелецкий кафтан на одном и грубосуконную стеганую поддёвку купецкого склада на другом. Было тепло, тихо, посвистывал за окном ветер, шуршали тараканы, хлебали рты. В середине обеда религиозно-молчаливое чавканье было нарушено стуком в мёрзлое окошко.

– Кто там?

– Во имя Отца и Сына и Духа Святого! Аминь! Впусти, хозяин.

– Да кто ты?

– Монаси мы, странники божии.

Через несколько минут в горницу, пыхтя и сгибаясь, влез старик в подпоясанном верёвкой лёгком нагольном тулупчике и скуфье. Он долго отряхивался, сетовал на метель, благодарил Бога, что попал в избу, кряхтел, снимая кожух, молился на иконы, дышал на руки, прикладывая их к печке и, наконец, поклонился сидевшим, касаясь рукою земли.

– Мир вам, братие, и благословенье угодников Божиих: Зосимы, Савватия – чудотворцев соловецких!

– Мартын Сквалыга! – вскричал купец. – Ты ли? Вот Бог послал!

– Тако, сыне, аз есмь! И тож узнал тя! Не Ивана ли Пафнутьича зрю очесами, что летось в посудине вместе плыли с Вологды до Архангельска? Забыл уж, отколь ты будешь родом-то!

– Обояньские мы, отче. Здрав буди! Садися, потрапезуй с благословеньцем. Душевно рад тебе! Прозяб, видно, крепко и от чарки не откажешься. А се – свояк мой, Игнат Алексеич, голова стрелецкий. Ныне воевода наш послал его на Москву с грамотой к боярам, так я попутчиком увязался. Пей, отче!

– Спасибо те, друже! Чуть жив дошёл! За здоровье твое! Благослови Господь!

– Кушай, старче! И посумерничаем, про виденное нам расскажешь.

После трапезы все трое залезли на широкую печь и, не зажигая огня, занялись впотьмах разговорами, воспоминанием старых встреч, пожеланием Царства Небесного покойникам и злословием по адресу живых.

– Из Соловков шагаю, – говорил Мартын. – О, пречудная обитель Божия, красоты неизречимой, середь моря утвердишася! Душою отдохнул тамо и потрудишься изрядно, до самого перва Спаса пребываючи. Оттоле шествуя, зайде аз к Антонию Сийскому, что на Двине-реке, недалече Архангельского града стоит. Тож монастырь предивный, на горе высокой, и бор кругом стоит. Кладезь там есть над источником самородным, иже исцеление недужным подает, а один раз в году, в нощи, на самый праздник Антониев, цветок сияющий из кладезя того выходит, чудеса великие творяще. И аще кто праведен есть, то чудо сие узрит и благоухание его учует. В сём лете одна слепая старица то видела. Аз же грешный на празднике там не был и чуда Господня не видел – на три дня опоздаше: задержался бо в Соловках по случаю непогоды на море. А видел тамо, в монастыре Антоньевом, боярина Романова Фёдора Никитича, что в Москве на Варварке двор имел, ныне же в монасах ходит, Филаретом зовут. И другие там бояре знатные, неволею пострижены, в кельях малых прозябают.

– Я тоже знавал его. Добрый был боярин. Худо ли проживает там?

– Допрежь Ильина дня жил в скудобе и нищете, а в день тот, сказывают, были у него люди и довели до него, что царевич Дмитрей углицкий на Литве объявился, и он, боярин-то, и оживися зело, възграся духом и речи игумену: «Не повинуюсь! И вы, чернецы, узнаете скоро, каков аз есмь, и все обиды мои воздадутся вам!» И учал монахов хулити и столь в перечу вступать, что чернецы убояшеся его и сотвориша яко хочет во всём!

– Москвою тож проходил?

– Был, чадо. Лихо там. Насмотрелся такого, что лучше бы и не заходить. Помрачился разум у властей православных, и не ведают, что творят. Рече аз единожды на толкучке, что звезда хвостатая не к добру на небеси явишася, так меня имали за приставы и в приказ привели доша. Неделю в подвале на соломе гнилой валяхся, чудом спасся – по молитвам родительским

отпустили окаянные и ничего не спросили. Не ведаю, како угодил туда, како освободился! Хватают на Москве зря кого попало, особливо же при помине Дмитрея-царевича, и мучают нещадно, даже до смерти.

– В наших посадах то ж самое творится, да токмо народ ныне иной стал: на прошлой неделе воевода поймал душ восемь али десять в Обоянь-граде за речи воровские да за письмо подметное, так вскорости у нас дьяку голову сорвали, двух стрельцов резали, боярину же знать дали, что коли не отпустит иманных, так же и ему будет. Да и петухом красным угрожают. Почуяли воры, куда от царевича ветер дует!

– Мыслю яз, – сказал стрелецкий голова, – что ежели так и дальше пойдёт, то сей зимой быть заварухе недоброй на донской степи. Воевода наш то же думает – с писаньем его о сей беде и еду в Москву.

– Смириться треба воеводе, – не всё же шкуру драть!

– Смирились, отче! После того случая вельми утишились – бояться воевода стал, даж татей в застенки не берём, палач в праздности у нас живёт. А слышно, за Белградом войско собирается, царевичу в подмогу, и на Курск пойдёт.

– Войско, говоришь? И что же то за войско? Откудова?

– Бог ведает, отче. Но ежели всех беглых подымут, так соберут силу немалую. Там токмо и говору, что о царевиче, и многие крест ему целовали.

– Люта будет рать донская, разбойная, – добавил купец, – бояр щупать учнёт.

– Спаси, Пречистая! Да может, всё сие брехня и суета сует? Много слыхивал яз сказок всяких житейских, им же веры давать не можно.

– Нет, отче, то – правда. Бают, уже две рати стоят там по сёлам – не идут по случаю морозов да снегов больших, одначе и не расходятся.

– Вот что! Дивны дела творятся! Недаром в Кремле московском на самый Серьгов день колокола ночью сами собой звонили – аз ушами своими то слышал, когда в приказе сидел, и весь народ был ужасом объят! Можя, от чуда сего меня и выпустили тогда.

– Надьсь в Курске тож виденье было – за два дня до нашего проезде. В церкви ихней «Успенья на помоях» ночью свечи сами собой зажглися, и с улицы люди видели, как царские врата отворилися и птица сиятельна из алтаря вышла, сказала три слова, коих никто разгадать не мог.

– В Курске, говоришь? Птица? – воскликнул монах. – Велико знаменье! Спаси нас, Господи! В третий раз появляется на Руси! Птица та зовется – Сирин. Впервые объявилась в обители Звенигородской, у Саввы преподобного, три лета тому назад, перед голодом московским; второй раз – в Ярославле, у Николы Мокрого. Токмо словес там птица не изрекала. Тяжко время наше, и не знаешь, куда путь держать! А что, други, царевич тот в Литве сидит аль вышел?

– Зязяб ты, отче, мыслию по дальним путям твоим! Царевич Дмитрей сколь градов уже под себя взял – Моравск и Чернигов, Кромы и протчие. Ныне же стоит под Новоградом-Северским, да войти туда не может – стены крепки там, и рать царская в нём сидит. А правит ею Басманов – боярин московский.

– А голытьба донская ему на подмогу собирается.

– Басманову, что ли?

– Нет, отче! О подмоге царю тут и не помышляют – то сам увидишь. Да ты куда путь-то держишь?

– Хотел я отсель на Белград пробираться – в монастыре там Пасхи святой дожждаться, звал меня Кирилл, настоятель, да ныне охота пришла на Дмитрея сего взглянуть.

– Отец настоятель Кирилл осенью сей на Покров день помре, и теперь сидит там Онисим.

– А коли тако – Царство ему Небесное! Хоть и жаль игумена, а гоже, что сие зде услышал, – не хожу на Белград, иду прямой дорогой к царевичу.

– А почто он тебе?

– Мне он не нужен, друже, то правда, да народ вокруг его шумит. А где народ, там и аз грешный! Люблю с людьми жити, от сего и по обителям долго не сижу, на миру шатаюсь, не имам силы затворитися.

– Народ, отче, таково шумит, что, смотри, как бы от сего шума-то голова с плеч не слетела!

– Э, милый! Ты ещё жених-молодец, а мы видали виды! Взять с меня неча, и страшиться мне неча, а ежли у царевича довольствие почую, то и совсем там останусь.

– Вот и многие так же судят, да и яз, купец, стремленье держу – после Москвы с товарцем к нему отъехать: можа, поторговать разрешит.

В это время послышался стук в ворота, крики со двора, и через некоторое время в избу вошли с небольшим фонарём двое боярских челядинцев с заиндевевшими бородами, а за ними протискался в узкую дверь толстый боярин в лисьей шубе и шапке, который, едва перекрестившись, сейчас же плюхнулся на лавку. Хлопцы кинулись разувать и раздевать его.

– Подождите, подлецы. Не могу встать – ноги затекли, озяб прелуто, дай дух переведу! Счастье пречудное, что не в поле ночуем! Отчаялся уж выбраться изо снега! Кабы не собачий лай – сидели бы в сугробах! Испить дай горячего! Романеи принеси. Ясти не хочу и на печь тотчас полезу Без меня трапезуйте!

Отогревшись, он позволил снять с себя огромные валенки, надетые сверх сапог, поднялся, скинул шубу, шапку, перекрестился.

– На печи люди, боярин, – доложил слуга.

– А ты не ведаешь, что творить? Жаль, нет плётки со мною, яз те научил бы!

– Эй, вы! – заорали «молодцы» лежащим на печке. – Слезайте! Убирайтесь! Скоро!

Один из них поднялся на ступеньку и вытянул кнутом старика Сквалыгу.

– Ой, батюшка! За что же ты? – захохот монах, поднимаясь, но купец так толкнул холопа ногою, что тот с грохотом полетел вниз.

Тут вошел со двора хозяин корчмы и, наклонясь к знатному постояльцу, сказал тихо:

– Княже боярин, не трожь их! Неведомо, что за люди, одначе не из чёрных. Даве царевича в речах поминали, а тут у нас кругом шалют ребята, и атаман недалече ходит. Как бы, Боже спаси, не заглянул в непогодь!

– Пужать меня вздумал, смерд! Михалка! Поучи-ка его ременной! Зажрались тутто! Всяку честь забыли! Чтоб сей же миг на печи никого не было! Слышал?

Но случилось то, чего опасался хозяин: дверь распахнулась, и в клубах морозного пара на пороге показались одна за другой фигуры в полушубках и бараньих шапках, с кистенями, саблями, дубинами.

Они быстро входили, крикали, отряхивали снег, истово крестились в передний угол.

– Ух, слава те, Господи! Нашли корчму! Сергеич! Здрав буди! Спасибо, что ворота не запер, – без стука въехали. Давай ужинать, да нет ли сивухи – захолодали люди!

– Сейчас, батюшка, отец родной! Как не быть!

– А что у тебя за народ?

– Неведомо, родной, – постояльцы проезжие. На печи люди тихие.

– Тихих-то человек ныне плетью стегали, с печи гнали, Бог им прости! – жалобно заговорил, высовываясь с печки, старик Мартын.

– Кто ж тебя гнал, старина?

– По его указу, – он кивнул на знатного, – хлопцы евонные пороли. Должно, князь с Москвы изволит жаловать.

– Ты кто таков? – спросил вновь вошедший боярина.

– А тебе, холоп, какое дело? И как смеешь вопрошать? Да знаешь ли ты, пёс, что...

– Сам ты пёс, а яз атаман тутошний.

– Разбойники!.. Спаси, Пречистая!.. Господи!..

– Не пускай соплей! Не трону. Мы нынче к царевичу Дмитрею идти собравшись, рать ему готовим.

– К царевичу? В сих местах? Под Курском? Тако ли слышу?.. Да ведь он под Новоградом Северским стоит!..

Атаман промолчал и, снимая валенки, лишь взглянул недружелюбно.

– Не погневись, добрый человек, но скажу тебе по совести – на Москве всем ведомо, что не царевич он, а чернец Гришка Отрепьев, и приказано словить его и к царю доставить. По церквам же грамота о том читана. Не в перечу говорю тебе, а по доброму совету – вразумленья ради.

– Уж не ты ли ловить его едешь?

– Нет, атамане, мы едем по своим делам. А патриарх святейший анафемой его проклял и указал...

– Утрева поговорим, княже, – перебил атаман, – а теперь ужинать дадено. Садись, товарищи! На печи ещё одно место мне найдется, другие по лавкам лягут, а ты, боярин, и на земли не сплохуешь – шуба у тебя знатная.

Пожинавши, повстанцы расположились, как указал атаман, оставив одного сидеть на лавке с ружьём для караула. Боярин подумал, повздыхал, но пререкаться из-за места не стал и, закутавшись в шубу, растянулся на полу поближе к печке.

Утром все поднялись до свету. Атаман прочёл вслух молитву, которую все выслушали стоя и крестясь, затем, пожевав хлебushка, стали натягивать полушубки.

– Так едешь, боярин, царевича ловить? – спросил старшой.

– Не лепно мне с тобою речь вести, но едино скажу тебе, что скоро сему царевичу конец придёт.

– Тако, тако... Да несподручно тебе в таких одеяньях тяжёлых за царевичем гоняться! Мы тебя полегчаем малость: ты шубу-то с обутками оставь нам и хлопцам прикажи, чтоб кожихи свои отдали, а также и коней всех, – пешему тебе удобнее кого хошь ловить – во всяку щель пролезешь! Да и мошну с рублями на стол клади!

– Да что ты, друже! Помилуй! Ведь яз тебя не трогал, не похабил! За что ж безвинно?

– Не погневайся, княже, недосужно с тобой чесаться! Эй, соколы! Имайте коней боярских! Едино коня дарю сему монаху – старцу, что ночевал со мною: он тож к царевичу стремится, да по бедности пешком далече, мол.

– Атамане! Друже! Смилуйся. Пять коней! Како без них буду? Хоть двух оставь! Бога ради молю тя! Не губи душу! – И боярин упал на колени.

– Давай казну! – рявкнул атаман. – Да молись за меня, что жив остался! Уж сколько раз меня за мягкость товарищи ругали, и ныне чую – не миновать того, да уж таков я уродился: не терплю крови зряшной. Уйди с проходу, чего растянулся! – И забравши мошну, полную серебра, толкнув обезумевшего князя ногою, он удалился.

На рассвете в корчме сидел лишь боярин и его два холопа, с которых повстанцы, по выходе атамана, успели снять не только шубу, но и всю одежду, оставив одни исподние рубахи. В полной растерянности князь плакал, как ребёнок, а слуги потребовали у корчмаря водки и заливали горе сивухою.

В одной из комнат большого кремлёвского дворца у стола, покрытого тёмной аксамитовой скатертью, сидели зимним вечером две грустные женщины; мать, в покойном заграничном кресле, и дочь – посреди подушек, на лавке, у стены. Первая не спеша пришивала бахрому к церковному покрывалу и, часто отрываясь, подносила к глазам платочек, поправляла свечку на столе, тяжело вздыхала, мельком взглядывала на дочку, негромко читавшую святую книгу.

Приятный, низкий голосок девушки и неторопливость её чтения, немножко нараспев, с печальной ноткой, гармонировали с мягкостью и темными тонами окружающей обстановки. Желтоватый свет пятисвечника, поставленного в простенке, тонул в тёмно-красной глубине бухарских ковров, облегающих пол и стены, скрадывающих звуки, успокаивающих взор. По стенам изящно поблескивали, не нарушая спокойного вида комнаты, драгоценные украшения: золотая посуда и безделушки на резных полочках, иноземные шкатулки и русские ларцы приземистого стиля на подставах, кавказская сабля в серебряных ножнах, два птичьих чучела, заморские часы у задней стены и другие вещи – подарки дорогих друзей, памятки хороших дней. Большой киот в углу, с разноцветными лампадами, неярко мерцал в полутьме алмазами своих икон и золочёными кистями чёрных бархатных занавесок; три удобных польских кресла с пуховичками, окружая стол, звали к отдохновению, к пользованию коврами ножными скамеечками, стоящими возле них; красавица печка, с уступами и выемками в голубых узорах, манила теплотой и чудесной лежаночкой, накрытой пушистым мехом с шёлковыми подушками; множество таких же подушек, валиков, думок лежало в беспорядке по широким бархатным лавкам и табуретам во всей комнате, заполняя свободные уголки, сокращая пространство.

Каменный свод, расписанный херувимами, с золотыми звёздами по синему полю, покрывал горницу, но не давил на неё, а успокоительно ограждал хозяев от всего внешнего мира: сюда не доносилось никаких шумов и звуков, никаких криков людской жизни за дверями. Тишина, слабый аромат восточных курений, ласковость всего убранства создавали здесь мягкий художественный уют, располагали к задумчивости и уединению.

– Ты не слушаешь, мамо? – сказала чтица, заметив полную неподвижность матери.

– Нет, нет, дочка, всё слышу, вот токмо последнее... А знаешь что? Открой ты книгу наугад и прочти мне что откроется.

– На Евангелии грешно гадать, мамо!

– Ну, Бог простит, тягот моих ради. Прочти мне.

Дочь подумала, потом открыла и, не читая написанного, сказала наизусть:

– Приидите ко мне, вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы.

– Се про нас сказано! Про государя нашего! На него я и загадала. О всех страждет! А они... ненавидят! – Она взялась за платочек.

– Ну, полно! Смотри, тряпица-то совсем уж мокрая!

– И рада бы перестать, да сами льются! Токмо здесь и поплачешь, душу отведёшь!

– И никогда ты, матушка, не скажешь, почто слёзы льёшь. От слуг про беду ведаем, обидно то!

– Ох, девонька! Оттого и ревьёт баба, что толком ничего сама не знает, а токмо сердцем чувствует. Я тож от челяди вести беру, сам-то ничего не скажет. Как взгляну на него, на лик сумрачный, на запавшие очи, так и зальюсь, и гонит он меня вон, ничего не сказавши.

– Последний раз говорили, что самозванец Гришка не возьмет Новограда, в снегах там стоит.

– То так. И уповаю, что отстоим град сей. Да на Москве опять беспокойно стало – измена, слышь, угнездилась в народе. То глад мужицкий терзал царя, теперь же вот – измена! И на бояр он не крепко надеется. И нет своих людей вокруг него: никому не верит, один за всех думает, душой томится! Всё то я вижу, чую, да сказать не умею. А может, неча и говорить! Слезою всё выходит!.. А ты опять, Оксинья?.. Не смей реветь! Утрись! И без того не знаю, куда деваться! Читай книгу!

Но читать не хотелось. Сидели молча, задумавшись, тихонько потрескивала свечка, где-то чуть слышно скребла мышь.

– Паче же всего, – очень тихо заговорила мать, – за него самого боюсь. Позавчера пришла я готовить его к ночи, так он вдруг захрипел столь тяжко, за грудь схватился и навзничь пал. Добре, что возле постели стоял, – не расшибся!

- Сохрани его, Господи! – дочь перекрестилась. – Не могу слёз сдержать!
- Давно ль сидим на царстве? А уж смеяться разучились! Чайла ль боярыня Марья Григорьевна, что в царицах будет слезами обливаться?..
- А скажи, мамо, почему измены те пошли? Прежде того не слышали.
- За грехи наши.
- Ты толком скажи мне!
- От дьявола то! Отцу твоему оскорбительно, и нам тоже. И всему христианству тож!
- Вот всегда ты так – знаешь, а не скажешь! А почто таиться? Разве твоя Оксюша не любит свою маму? Ну поведай мне. Ну молю тебя! – И она придвинулась к матери.
- Эх, любопытная ты девка, вся в родителя! Измена в том, что по граду слух бесовский ходит, якобы царевич Дмитрей не сам в ту пору закололся на игре с ножом, а зарезали его по приказу батюшки твоего.
- Как! Что ты говоришь?
- Ты, вижу, не слыхала про то! Не волнуйся, детко, мало ли чего лиходеи врут по наущенью дьявольскому да ещё добавляют...
- Что добавляют?
- А сие, можа, тебе и знать не след!
- Скажи, милая, дорогая! Сохраню тайну твою! Душа едина не узнает!
- Но тут отворилась дверь и царица на полуслове замолчала.
- В комнату вошёл царь Борис в сопровождении молодого царевича.
- Вечер добрый! – сказал он, целуя жену и дочь в губы. – Зашёл отдохнуть у вас малость. Не пущать сюда никого! Скажи там, Фёдор! Хочу побыть с вами. Укромно здесь! А вы как были бабы, так и остались: тайный разговор ведёте, а дверь не плотно закрыта! Мы стояли там и слухали.
- Ой! Прости, государь-батюшка Борис Фёдорыч, жену неразумную! От слез голова уж не думает!..
- Брось, Марья! Что рекла – то рекла. Назад не вернёшь! Да не нужно и вертать: я сам dokonчу речь твою. Добавляют воры, что Дмитрей спасся и ныне на меня идёт. Вот о чём сейчас вся Москва шепчет!
- Батюшка! Ведь сие же ложь безбожная! И кто же ей поверит? – сказала дочь. – Господи!
- Время тяжкое, обиженных, голодных много стало на божьем свете. Недовольный же раб, не видя причины беды своей, всё на царя валит и даже неурожай считает наказаньем Божиим за грехи царёвы. Такой всему поверит.
- Но твоя Москва, государь, тебя любит и не поверит! – горячо возразил царевич.
- Аминь! – подтвердил Борис. – Вчера старец некий из Устюга Великого мне как раз эти самые слова сказал. Надеюсь и верую, что изживём беду. И по гороскопу, что англиканец Устрой ради меня составил, тож выходит: не победит меня расстрига – Басманов разобьёт его весною.
- Мы тож не сомневаемся, государь, – сказала царица, – и лишь о здравии твоём Бога молим.
- Ох, ох! Како се здравие! Недуг долит, и лекаря немецкие не помогают!
- Спаси тебя Господь!
- Государь-батюшка! – обратился к нему сын. – Дозволь спросить тебя! Уж коль не погневался ты на речи матушкины и сам о том же говорить изволил, так, может, поведаете нам теперь про углицкого царевича. Обещал ведь!
- Обещал – то правда. Но недосужно было, сей же час неохота подлецов Романовых да Нагих вспоминать: вздохнуть душою к вам зашёл – люблю место сие, да редко бывать стал.
- Отдохни, ненаглядный наш, – сказала жена. – И нечего здесь тревожить государя.
- Но царевич продолжал своё:

– От бояр, от детей ихних, а ещё от слуг наших вести получаю, где в них правда, где ложь – не размыслию. Батюшка же хотел нам поведать...

– Верно, сыне, – от слуг в таком деле осведомляться негоже. И откладывать дале не след: в животе и смерти Бог волен, а лучше знать тебе про Дмитрея и про Романовых из уст моих, чем иных протчих. Так вот, слушайте!

После кончины царевича Дмитрея – тому назад лет, почитай, пятнадцать – ездил в Углич князь Шуйский Василь Иваныч со владыкою Денисом, розыск там чинили и, возвратясь, грамоту царю подали, прописав в ней, что закололся мальчик сам, играючи с ножом в тычку.

Я тогда не поверил грамоте их и спросил – а где нож тот, невинной кровию политый? Ведь ежели то при игре вышло, так ножик никуда не девался, – почему же они его не привезли? Шуйский отвечал мне, что ножа они не видели и не искали. Рана же на шее отрока была столь тяжка, что он тут же, на дворе, скончался, и мысляю я, что нож тут иной ходил, не тот, что ребятам играть дают, а кинжал разбойный! Но не мог Шуйский инако написать, ибо ежели сказать про убиенье да не назвать злодеев, то всяк подумает, что мы сокрыли их и, стало быть, сами в той крови повинны. Убивцев же он не разыскал, не токмо вживе, но даже и по имени. И вот почитаю я царевича злодейски убиенным! Но чья рука поднялась на малютку? Кому нужна была его кончина? О сём гадательно лишь мысляю. Могли то совершить враги бояр Нагих, дядей Дмитриевых, дабы погубить сих бояр, и коли сие верно, то вороги цели своей достигли и Нагих погубили. А ещё могли те, кто почитал себя наследниками царю Фёдору по родству и кому мешал Дмитрей. Сие суть – Романовы! Вот враг на всё готовый! И они, Никитичи, и слух тот сатанинский про меня пустили! А я и донныне не ведаю, кто убил царевича!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.